

ИНЕССА ГОЛД

ИНЕССА ГОЛД БАРЫШНЯ С СЕКРЕТОМ

БАРЫШНЯ
С СЕКРЕТОМ
МАМА ИЗ БУДУЩЕГО



Инесса Голд

**Барышня с Секретом:
Мама из Будущего**

«Литнет»

2025

Голд И.

Барышня с Секретом: Мама из Будущего / И. Голд — «Литнет», 2025

Я думала, что потерять бизнес в XXI веке — это крах. Оказалось, настоящий крах — это очнуться в 1890 году в теле нищей баронессы. Вместо квартиры — разваливающаяся усадьба, вместо алиментов — гора долговых расписок, а вместо интернета — пятилетний сын, который просит мультики и называет кучера «водилой». Родня мужа мечтает упечь меня в монастырь и отобрать ребенка ради наследства. Светское общество презирает за бедность. А главный кредитор — наглый, циничный купец — уже потирает руки, желая выставить нас на улицу. Он думает, что я слабая вдова, которая будет рыдать у его ног? Зря! Я — кондитер с двадцатилетним стажем. Я заставлю эту губернию полюбить мой зефир, верну долги и поставлю на место всех врагов. А этот самоуверенный «медведь»... Что ж, пусть попробует купить моё имение. Или моё сердце. Если денег хватит! В тексте есть: ♥# Попаданка с характером и современными знаниями ♥# Властный герой (простой мужик с большими деньгами) ♥# Ребенок, который «палит контору» (очень милый!) ♥# От ненависти до любви + ХЭ ♥# Становление бизнеса и вкусные десерты

© Голд И., 2025

© Литнет, 2025

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	20
Глава 4 (Белозеров)	29
Глава 5	35
Глава 6 (Белозеров)	44
Глава 7	53
Глава 8	62
Глава 9	69
Глава 10 (Белозеров)	79
Глава 11	87
Глава 12	97
Глава 13 (Белозеров)	106
Глава 14	115
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Глава 1

Последним, что я запомнила, был звук. Нечеловеческий, выворачивающий душу скрежет металла о металл, от которого, казалось, лопаются барабанные перепонки. А потом мир крутанулся в бешеной карусели, вспыхнул ослепительно белым и погас.

Я ждала боли. Ждала писка медицинских приборов, запаха хлорки и голоса хирурга: «Мы её теряем». Или, на худой конец, шума оживленной трассы и сирен скорой помощи.

Но вместо этого на меня навалилась тишина. Плотная, ватная, душная тишина, пахнувшая не лекарствами, а чем-то приторно-сладким. Горячим воском. Пылью. И едва уловимо — увядшими цветами.

Я попыталась сделать вдох, но грудную клетку сдавило, словно на ней лежал могильный камень.

«Жива», — мелькнула первая, паническая мысль. — «Господи, я жива».

Вторая мысль обожгла раскаленным железом: «Миша!».

Он сидел сзади. В детском кресле. Мы ехали в кино, он смеялся и болтал ногами, пачкая обивку моих новых чехлов.

— Миша! — попыталась крикнуть я, но вместо голоса из горла вырвался сиплый, жалкий хрип, похожий на скрип несмазанной петли.

Я рванулась, пытаюсь сесть, сбросить с себя это тяжелое, душащее нечто. Тело не слушалось. Оно было чужим — странно легким, невесомым, но совершенно бескостным, словно из меня вынули стержень. Рука, которую я с трудом подняла к лицу, дрожала, как у глубокой старухи.

Глаза открывались с трудом, ресницы слиплись. Я моргнула раз, другой, прогоняя мутную пелену.

Надо мной не было белого больничного потолка. Надо мной нависал балдахин. Темная, тяжелая ткань, местами проеденная молью, собиралась в пыльные складки. Сквозь щель в пологе пробивался тусклый, дрожащий огонек.

Я повернула голову. Шея хрустнула, отдаваясь тупой болью в затылке.

В углу комнаты, в полумраке, теплилась лампада перед темным ликом иконы. Красный огонек отражался в стекле высокого, узкого окна, за которым чернела ночь.

Никаких приборов. Никаких медсестер. Только этот запах — воск и застарелая болезнь. И холод. Пробирающий до костей холод, от которого не спасало даже тяжеленное ватное одеяло, под которым я лежала, обливаясь липким потом.

Где я? Какая-то деревенская больница? Монастырь? Куда нас привезли после аварии?

Я высвободила руки из-под одеяла и замерла.

Это были не мои руки.

Я знала свои ладони до каждой черточки: короткие, деловые ногти, покрытые бордовым шеллаком, крошечный шрам на большом пальце от ножа, вечно сухая кожа от работы с мукой.

Эти руки были длинными, тонкими, почти прозрачными. Кожа, белая, как пергамент, просвечивала синими жилками. Ногти — без лака, длинные, с неровными краями, словно их

обгрызли. На безымянном пальце правой руки болталось тонкое золотое кольцо, которое явно было велико.

— Бред, — прошептала я одними губами. Голос был чужим. Высоким, ломким. — Галлюцинации. Черепно-мозговая.

Нужно встать. Нужно найти врача. Нужно узнать, где сын.

Собрав последние крохи воли в кулак, я откинула одеяло. Холод тут же вцепился в кожу ледяными пальцами. На мне была длинная, до пят, ночная сорочка. Тонкий хлопок, кружева у горла, промокшие от пота.

Я спустила ноги на пол. Доски были ледяными, крашеными рыжей краской, местами стертой до дерева. Из щелей тянуло сквозняком. Я вздрогнула всем телом, но упрямство — та самая черта, которая помогла мне построить бизнес с нуля после развода, — гнало меня вперед.

Шаг. Еще один. Колени подогнулись, и я рухнула бы, если бы не вцепилась в высокий резной столбик кровати. Дыхание сбилось, сердце колотилось где-то в горле, как пойманная птица.

В полумраке я различила очертания мебели: массивный шкаф, похожий на гроб, кресло с высокой спинкой и трюмо. Зеркало. Мне нужно было зеркало.

Я, держась за стену, поплелась к нему. Отражение выплыло из темноты медленно, словно нехотя.

Я замерла. Воздух застрял в легких.

На меня смотрела не Полина Андреевна, технолог кондитерского производства и владельца лучшей пекарни в районе. На меня смотрела незнакомка.

Совсем молодая девчонка, лет двадцати двух, не больше. Худая до прозрачности. Острые ключицы торчали из ворота сорочки так, что казалось, прорвут кожу. Волосы — светлые, спутанные в колтун, рассыпались по плечам. Но самым страшным были глаза. Огромные, ввалившиеся, обведенные темными кругами, они смотрели с какой-то обреченной тоской.

Я подняла руку и коснулась щеки. Холодная. Чужая.

Отражение повторило мой жест.

— Этого не может быть, — прошептала я. — Я сплю. Я в коме. Это аватар.

Я ущипнула себя за предплечье. Больно. На бледной коже тут же расплылось красное пятно.

Я развернулась, оглядывая комнату уже более осмысленно. Высокие потолки с лепниной, закопченной от времени. Иконы. Свечи. Ни одной розетки. Ни одного пластикового предмета. На столике у кровати — кувшин с водой и какой-то пузырек с мутной жижей.

— Миша... — снова позвала я, чувствуя, как паника ледяной волной поднимается от живота к груди. — Где мой сын?

В этот момент массивная дверь скрипнула и приоткрылась. В комнату просунулась голова в белом платке. Следом появилась девица в простом сером платье и фартуке, держащая в руках медный таз и стопку полотенец.

Она увидела меня — стоящую посреди комнаты, босую, похожую на привидение, — и застыла. Глаза её округлились, рот приоткрылся.

— Ба-а-арыня... — протянула она дрожащим голосом.

Таз с грохотом полетел на пол. Вода плеснула мне на босые ноги, но я даже не вздрогнула. Металлический звон, казалось, расколол тишину этого склепа.

Девушка рухнула на колени и начала истошно креститься, глядя на меня с суеверным ужасом.

— Свят, свят, свят! Пелагея Андреевна! Очнулись! А ведь лекарь сказывал, до утра не дотянете! Ох, чудо-то какое! Пресвятая Богородица заступилась!

Она бормотала что-то еще, кланяясь в пол, но я не слушала. Я сделала шаг к ней, чувствуя, как ярость придает сил моему слабому телу.

— Встань! — приказала я. Голос прозвучал хрипло, но властно. — Кто ты?

Девушка вздрогнула, подняла на меня заплаканные глаза. Лицо у нее было простое, курносое, усыпанное веснушками.

— Так Дуняша я, барыня. Горничная ваша. Не признали? Ох, горе-то какое, память отшибло после горячки...

— Плевать на память, — я схватила её за плечо, сжимая худыми пальцами грубую ткань платья. — Где ребенок? Где мальчик, который был со мной?

Дуняша захлопала глазами, явно не понимая.

— Какой мальчик, матушка? С вами ж токмо кучер был, когда вас без памяти из саней вынимали. Вы ж с ярмарки ехали, да простыли, да в жар впали... Третий день уж лежите пластом.

— Не ври мне! — я встряхнула её, хотя саму меня шатало от слабости. — Мой сын! Миша! Ему пять лет, он был в машине... в санях! Где он?!

Дуняша побелела еще больше. Она попыталась отстраниться, глядя на меня уже не как на чудо, а как на умалишенную.

— Пелагея Андреевна, побойтесь Бога, какой Миша? У вас один сынок, Николенька. Барчук наш. Наследник.
Николенька.

Имя резануло слух. Чужое имя. Чужая жизнь.

Значит, я одна.

Земля ушла из-под ног. Я пошатнулась, и Дуняша тут же вскочила, подхватывая меня под локоть. Она была крепкой, пахла кислым хлебом и потом.

— Ох, барыня, вам лежать надо! Нельзя вам вставать! Батюшка Игнатий уже едет, отходную читать собирался, а тут вы на ногах... Граф Аркадий Петрович велели глаз с вас не спускать, но к Николеньке не пускать, чтоб сразу не разносили.

— Граф? — переспросила я, цепляясь за обрывки информации. — Кто такой граф?

— Дядюшка покойного мужа вашего, опекун, — Дуняша говорила быстро, пытаясь утащить меня обратно к кровати. — Злой он нынче, барыня. Кричал давеча, что вы усадьбу по миру пустили, что Николеньку заберет, а вас — в монастырь, грехи замаливать. Говорит, не в себе вы.

Монастырь. Опекун. Усадьба.

Пазл в голове начал складываться в страшную картину. Я попала. Я действительно попала в какое-то прошлое. И я здесь совсем одна, в теле слабой женщины, которую все уже списали со счетов.

Слезы, горячие и злые, подступили к горлу. Миша... Мой маленький, смешной Миша, который так любил нагетсы и мультки про роботов. Он остался там. В искореженной машине. Один. Или... мертвый.

Я обмякла в руках горничной. Смысл сопротивляться исчез. Пусть укладывают. Пусть везут в монастырь. Мне все равно. Без сына мне этот мир, будь он хоть трижды девятнадцатым веком, не нужен.

Дуняша, чувствуя, что я сдалась, осмелела. Она поправила сбившуюся подушку, усадила меня на край кровати.

— Вот и славно, вот и хорошо. Сейчас чайку с малиной принесу. А Николенька-то... — она тяжело вздохнула, поднимая с пола таз. — Ох, и намучились мы с ним, барыня. Как вы слегли, так его словно подменили. Бес вселился, не иначе.

Я подняла голову. Что-то в её тоне заставило мое сердце пропустить удар.

— Что значит — бес?

Дуняша перекрестилась, глядя на дверь.

— Так орет благим матом третьи сутки! В детской заперся, няньку, старую Марфу, за руку укусил до крови. Стульями баррикады строит. А слова какие говорит — срам один! Никто понять не может.

— Какие слова? — прошептала я. Внутри зажглась крохотная, безумная искра надежды.

— Да бесовские! — зашептала Дуняша, округляя глаза. — Кричит: «Где мой планшет?». «Вайфай», говорит, дайте. А давеча управляющему, Кузьме Игнатичу, сказал, что он... про-сти Господи... «бот». И что он его «забанит». Кузьма Игнатич аж сплюнул, говорит, горячка мозговая у барчука, как у маменьки.

Я застыла.

Планшет. Вайфай. Бот. Забанит.

Это не бред. Это не девятнадцатый век. Этих слов здесь не знают. Их знает только один человек в этом мире. Мой сын.

Мой Миша здесь! Он в теле этого Николеньки!

Сила, горячая и мощная, ударила в голову, мгновенно выжигая слабость и апатию. Мой ребенок жив. Он рядом. И ему страшно.

— Где детская? — спросила я. Голос больше не дрожал. Он звенел сталью.

Дуняша попятилась.

— Так в конце коридора, барыня. Токмо нельзя вам! Граф велели запереть барчука, пока лекарь из города не приедет, чтоб...

Я не дослушала.

Резко встав, я оттолкнула горничную с дороги. Голова кружилась, перед глазами плыли черные мушки, но это больше не имело значения.

Я распахнула тяжелую дверь и вывалилась в коридор.

Здесь было холодно и темно. Лишь редкие свечи в настенных канделябрах разгоняли мрак. Пол был ледяным, но я бежала босиком, путаясь в длинном подоле ночной рубашки, не чувствуя холода.

Коридор казался бесконечным. Мимо проплывали портреты каких-то усатых мужчин в мундирах, закрытые двери, старые сундуки.

— Барыня! Пойдите! Нельзя! — визжала где-то сзади Дуняша.

Пусть визжит. Пусть хоть сам черт за мной гонится.

Я слышала его раньше, чем увидела дверь.

Тонкий, сорванный детский плач, переходящий в икоту. И голос. Родной, любимый голос моего сына, который сейчас звучал как самое прекрасное в мире пение.

— Откройте! Вы не имеете права! Я буду жаловаться в ООН! Мама! Мамочка!

Я подлетела к массивной двустворчатой двери. Ручка была заперта снаружи — в проушины был вставлен тяжелый железный засов.

— Миша! — закричала я, барабанила кулаками по дереву. — Миша, я здесь! Открой!

За дверью наступила тишина. Мертвая, звенящая тишина. А потом неуверенный, дрожащий шепот:

— Мама? Это ты? Ты не умерла?

Слезы хлынули из глаз, но теперь это были слезы облегчения.

— Я жива, родной. Я здесь. Сейчас, подожди...

Я вцепилась в засов. Он был тяжелым, ржавым. Мои новые слабые руки скользили по холодному металлу. Я уперлась ногой в косяк, навалилась всем телом. Ногти, кажется, сломались, но я не чувствовала боли.

— Ну давай же! — рычала я сквозь зубы. — Открывайся, гадина!

Сзади послышался топот. Дуняша бежала не одна — с ней был какой-то мужик в кафтане, видимо, лакей.

— Держи её! — крикнул мужик. — Помрачилась барыня!

В этот момент засов с жутким скрежетом поддался и отлетел в сторону. Дверь распахнулась.

Я ввалилась внутрь детской.

Здесь царил хаос. Дорогие венские стулья были свалены в кучу у окна. Шторы сорваны. На полу валялись растерзанные подушки и деревянные лошадки.

А посреди этого разгрома, сжимая в руке ножку от стула, как бейсбольную битку, стоял маленький мальчик.

Он был похож на ангелочка с рождественской открытки: золотистые кудри, кружевной воротничок, бархатные штанишки. Но лицо его было перекошено от ужаса и решимости, а по щекам, грязным от сажи (видимо, пытался лезть в камин), текли слезы.

Он увидел меня.

На секунду в его глазах мелькнуло сомнение — ведь он видел чужую женщину. Бледную, лохматую, в ночной рубашке.

— Мама? — недоверчиво спросил он, опуская «оружие».

Я рухнула перед ним на колени, раскинув руки.

— Макарошки, — выдохнула я наш с ним пароль. Тот самый, который мы придумали, когда играли в шпионов, чтобы он не ушел с чужими людьми.

Стул с грохотом упал на пол.

— Мама! — Миша бросился ко мне, врезаясь с разбегу в мою грудь.

Я обхватила его, прижимая к себе так сильно, что боялась сломать ему ребра. Я зарылась лицом в его кудряшки. Они пахли не детским шампунем с клубникой, а лавандой и старой пудрой, но под этим запахом был запах моего сына. Теплый, родной.

Он рыдал, вцепившись в мою сорочку.

— Мама, они забрали мой планшет! Тут нет розеток! Тут тетка страшная хотела меня кашей кормить! Мама, поехали домой! Я хочу домой!

— Тише, тише, мой хороший, — я гладила его по спине, раскачиваясь из стороны в сторону. — Мы разберемся. Мы всё придумаем. Главное, ты жив.

В дверях столпились слуги. Дуняша, лакей, какая-то старуха в чепце (видимо, укушенная нянька). Они смотрели на нас, раскрыв рты.

— Гляди-ка, признал, — прошамкала старуха. — А ведь кричал, что не знает её. Бесовщина отступила, видать.

Я подняла голову. Слезы высохли. Теперь, когда сын был у меня в руках, страх исчез. На его место пришла холодная, расчетливая ярость матери-медведицы.

Я — Полина Андреевна, которая выжила в девяностые, пережила развод с мужем-абьюзером и подняла бизнес в кризис. Неужели я не справлюсь с кучкой крепостных и одним старым графом?

Я медленно встала, держа Мишу за руку. Голова все еще кружилась, но спину я держала прямо. Впервые за эти минуты я почувствовала себя собой. Не жалкой Пелагеей, а хозяйкой положения.

— А ну пошли вон! — рявкнула я так, что лакей вздрогнул. — Все! Вон отсюда!

— Барыня, так ведь... — начал было лакей.

— Я сказала — вон! — я сделала шаг вперед, закрывая собой ребенка. — Кто позволил запирать наследника? Кто позволил морить его голодом? Завтра же всех уволю! А сейчас — марш отсюда, и чтобы духу вашего здесь не было до утра!

Они переглянулись. В их глазах был страх. Сумасшедших на Руси боялись и уважали. А то, что барыня, которая раньше слова поперек не говорила, вдруг начала орать и командовать, пугало их больше всего.

Они попятились. Дверь закрылась.

Я щелкнула засовом изнутри (он был и с этой стороны, к счастью). Потом повернулась к сыну.

Миша шмыгнул носом и посмотрел на меня своими огромными серыми глазами (у Николенки глаза были серые, а у Миши — карие, отметила я про себя. Еще одна деталь).

— Мам, ты выглядишь как зомби из того фильма, — честно сказал он. — А я кто? Почему я в платье?

Я нервно хихикнула. Нервное напряжение начало отпускать, сменяясь истерическим смешком.

— Это не платье, зайчик. Это... винтажный костюм. Мы с тобой попали в квест. Помнишь, мы хотели сходить? Вот. Очень реалистичный квест.

— А, приколы, — Миша немного успокоился. Слово «квест» ему было понятно. — А долго мы тут будем? Я есть хочу. Тут еда невкусная. Каша серая и без сахара.

Я огляделась. В детской на столе стоял поднос с нетронутой тарелкой какой-то застывшей массы и кувшин.

— Сейчас найдем что-нибудь, — пообещала я, хотя живот у самой свело от голода.

Я подошла к окну. Шторы были сорваны, и теперь я могла видеть двор.

Там было темно и сыро. Моросил мелкий дождь со снегом — типичная ноябрьская погода средней полосы. Двор был завален опавшей листвой, забор покосился. У крыльца стояла какая-то повозка, запряженная понурой лошастью.

Разруха. Полная, тотальная разруха.

«Куда же ты смотрела, Пелагея?» — подумала я с горечью. — «Как можно было довести дом до такого состояния?»

Впрочем, судя по тому, что я увидела в зеркале, прежней хозяйке тела было не до хозяйства. Она сама угасала.

— Мам, — Миша дернул меня за руку. — А где папа? Он тоже в квесте?

Я прикусила губу. Бывший муж остался в будущем, и слава богу. Но здесь...

— Папы здесь нет, малыш. Мы с тобой вдвоем. Мы команда. Помнишь?

— Ага, — кивнул он. — Банда.

В дверь деликатно, но настойчиво постучали.

Я напряглась.

— Кто там? — крикнула я, не спеша открывать.

— Управляющий я, Кузьма Игнатьич, — голос был грубый, прокуренный, без капли уважения. — Барыня, вы там долго еще в прятки играть будете? Тут человек к вам приехал. Важный.

— Ночь на дворе! — возмутилась я. — Какой человек?

— Так Дмитрий Игнатьич Белозеров. Кредитор ваш. Говорит, ждать до утра не станет. Велел передать: или вы сейчас спускаетесь, или он завтра же казаков с приставами пришлет, выселять вас будет.

Сердце упало куда-то в пятки.

Кредитор. Выселять.

Значит, у нас не просто нет денег. У нас нет даже крыши над головой.

Я посмотрела на Мишу. Он тер глаза кулачками, сонный и испуганный.

Я не могу позволить выгнать нас на улицу. Не сейчас.

— Скажи ему... — я набрала в грудь воздуха. — Скажи, что я сейчас спущусь.

— Мам, ты куда? — испугался Миша.

— Я скоро, родной. Я только поговорю с одним дядей. Это часть игры. Мне нужно... получить бонус. Ты посидишь тут тихо? Дверь закроешь на засов и никому, слышишь, никому не открывай, кроме меня. Пароль — «Макарошки».

Миша серьезно кивнул и шмыгнул носом:

— Окей. Но если он босс, ты его ультой бей.

Я грустно улыбнулась, погладила его по чужим светлым кудрям.

— Обязательно, сынок. Ультой.

Я вышла в коридор, оставив сына за закрытой дверью.

Мне нужно было привести себя в порядок. Спускаться к кредитору в ночной рубашке и босиком было нельзя. Это сразу поражение.

Я вернулась в свою спальню. Дуняши не было.

Я открыла шкаф. Запах нафталина ударил в нос.

Платья. Черные, серые, коричневые. Глухие вороты, тяжелые ткани. Траур. Видимо, Пелагея носила траур по мужу или по своей загубленной жизни.

Я выбрала самое приличное — темно-синее, шерстяное, с минимумом кружев.

Надеть его оказалось пыткой. Пуговицы на спине, крючки, какие-то завязки. Корсет я нашла на стуле. Покрутила в руках эту конструкцию из китового уса и ткани.

«Орудие пыток», — подумала я. Но без него платье висело мешком.

Кое-как, извиваясь ужом, я затянула шнуровку. Воздуха стало меньше, зато спина сама собой выпрямилась.

«Броня», — подумала я. — «Это моя броня».

Я нашла на столике гребень, кое-как расчесала спутанные волосы, заплела их в простую косу. Взглянула в зеркало.

Изможденная бледность никуда не делась. Глаза горели лихорадочным блеском.

— Ну что, Полина Андреевна, — сказала я своему отражению. — Время переговоров. Ты акул бизнеса ела на завтрак. Неужели с купцом девятнадцатого века не справишься?

Я вышла из комнаты и направилась к лестнице.

Дом был огромным и гулким. Ступени скрипели под моими ногами (я нашла какие-то туфли, чуть великоватые, но мягкие).

Снизу, из холла, доносились голоса.

Один — заискивающий, противный. Голос управляющего.

Второй — низкий, рокочущий, полный раздражения и силы.

— ...Мне плевать, Кузьма, больна она или притворяется. Вексель просрочен неделю назад. Я не богадельня. Мне нужна эта земля под лесопилку, а не этот гнилой курятник с истеричкой.

Я замерла на середине лестницы.

Внизу, в центре холла, стоял мужчина.

Он стоял спиной ко мне, но даже со спины он казался огромным. Широкие плечи, обтянутые добротным темным сюртуком, мощная шея, темные волосы, слегка выющиеся на затылке. Он держал в руках трость с серебряным набалдашником и постукивал ею по моему паркету. Ритмично. Раздражающе.

Тук. Тук. Тук.

— Гнать их в шею, — произнес он, поворачиваясь к управляющему. — Завтра же.

Я глубоко вздохнула, чувствуя, как корсет впивается в ребра, и начала спускаться.

— Дмитрий Игнатьевич, — мой голос прозвучал неожиданно твердо и звонко в пустом холле. — Если вы продолжите портить мой паркет своими сапогами и этой палкой, я включу стоимость ремонта в счет вашего долга.

Мужчина замер. Медленно, очень медленно он поднял голову и посмотрел на лестницу.

Наши взгляды встретились.

Глава 2

Наши взгляды скрестились, словно шпаги.

Если бы я писала роман о девятнадцатом веке, сидя на своей уютной кухне с чашкой латте, я бы непременно описала героя как «писаного красавца с глазами цвета грозового неба». Но реальность, пахнущая сыростью и безнадежностью, диктовала другие метафоры.

Дмитрий Игнатьевич Белозеров был похож на скалу. Или на медведя, которого разбудили посреди зимы и забыли покормить. Темные, почти черные глаза смотрели из-под густых бровей не просто холодно — они смотрели сквозь меня, оценивая, сколько можно выручить за эту бледную мошь в синем платье, если сдать её в ломбард вместе с паркетом.

Он медленно, с ленцой хищника, поднял трость и указал ею на меня, словно на неодушевленный предмет.

— Паркет? — его голос был низким, глубоким, с легкой хрипотцой, от которой по спине почему-то пробежали мурашки. — Пелагея Андреевна, вы меня удивляете. Я полагал, что в вашем положении думают о спасении души, а не о ремонте того, что вам уже не принадлежит.

Управляющий Кузьма, стоящий рядом с ним, мерзко захихикал, стягивая шапку и комкая её в руках.

— И то верно, Дмитрий Игнатьич! Барыня у нас того... после горячки-то... заговариваются.

Я сжала перила так, что старый лак, казалось, впился в ладони. Корсет, эта чертова конструкция из китового уса, сжал ребра, не давая сделать глубокий вдох. Но это было даже к лучшему. Боль отрезвляла. Она напоминала: я здесь не гостья. Я в теле женщины, которую загнали в угол. И если я сейчас отступлю, меня, а главное — моего сына, раскатают катком.

— Кузьма, — произнесла я ледяным тоном, продолжая спускаться. Ступенька. Еще одна. Главное — не запутаться в подоле и не рухнуть к ногам этого купца. — Пошел вон.

Управляющий поперхнулся смешком.

— Чего-сь?

— Ты уволен, — отчеканила я, наконец ступая на пол холла. — Собери свои вещи и убирайся. Расчет получишь... позже. Если я не обнаружу недостатки в амбарных книгах. А я ее обнаружу.

Кузьма вытаращил глаза, его красное, испитое лицо пошло пятнами. Он открыл рот, чтобы отгрызнуться, но тут Белозеров глухо рыкнул:

— Ты не слышал, что барыня сказала? Пшел.

Купец даже не посмотрел на него. Его тяжелый, внимательный взгляд был прикован ко мне. Управляющий, что-то бормоча себе под нос и злобно зыря, попятился к дверям и выскочил в ночную темноту.

Мы остались одни.

Холл был огромным, темным и гулким. Свечи в единственном канделябре горели неровно, отбрасывая на стены пляшущие тени. Ветер за окном швырял в стекла мокрый снег, создавая жутковатый аккомпанемент нашей встрече.

Белозеров сделал шаг ко мне. Я инстинктивно захотела отступить, но заставила себя стоять на месте. Он был высоким — на голову выше меня. От него пахло дорогим табаком, кожей, морозным воздухом и какой-то едва уловимой опасностью.

— Bravo, — произнес он без тени улыбки. — Эффектно. Выгнали единственного человека, который знал, где в этом доме лежат дрова. Вы решили замерзнуть насмерть, чтобы не платить долги? Хитро.

— Я решила навести порядок, — парировала я, вскинув подбородок. — И начала с мусора. Прошу в гостиную, Дмитрий Игнатьевич. Не будем обсуждать дела в прихожей, как прислуга.

Я развернулась и, шурша юбками, направилась к двустворчатым дверям, молясь, чтобы в гостиной было хоть немного теплее. Спинай я чувствовала его взгляд. Тяжелый, давящий. Он явно не ожидал такого приема. Он ждал слез, мольбы, обмороков — всего того, что полагается делать слабой женщине девятнадцатого века.

Ну что ж, сюрприз.

В гостиной было так же неудобно. Мебель в чехлах напоминала белые сугробы. Камин был черен и холоден. Я села в единственное кресло, с которого был снят чехол, и жестом указала Белозерову на диван напротив.

Он не сел. Остался стоять, опираясь на трость, нависая надо мной темной скалой. Это была тактика давления, старая как мир. В моем времени так делали налоговые инспекторы и бандиты.

Он достал из внутреннего кармана сюртука пухлый конверт и бросил его на низкий столик передо мной. Бумага шлепнулась с тяжелым, плотным звуком.

— Здесь вексель вашего покойного супруга, барона Воронцова, — его голос звучал сухо, по-деловому. — Общая сумма — пятьдесят тысяч рублей ассигнациями. С учетом процентов за просрочку и пени.

Пятьдесят тысяч.

Я не знала курса рубля 1890 года к рублю 2024-го, но по тому, как он это произнес, поняла: это состояние. Это цена нескольких таких усадеб. Это приговор.

— Срок вышел неделю назад, — продолжал он, безжалостно вбивая гвозди в крышку моего гроба. — Согласно договору, залогом выступает имение «Отрадное» со всеми землями, постройками и движимым имуществом. Я подал прошение в суд. Через три дня придут оценщики. Через неделю — торги. Вам, Пелагея Андреевна, и вашему сыну придется освободить помещение.

Я смотрела на конверт. Руки, спрятанные в складках платья, дрожали.

Миша. Мой маленький Миша, который сейчас сидит наверху в запертой комнате и ждет еды. Если нас выгонят... Куда? На паперть? В долговую тюрьму? Зима на носу. Это верная смерть.

— Вы не можете нас выгнать, — тихо сказала я. — Зима. У меня ребенок. Есть же законы... совести.

Белозеров хмыкнул. Это был неприятный, лающий звук.

— Совесть — товар штучный, баронесса, и в банковском деле не котируется. Ваш муж о совести не думал, когда занимал у меня деньги, чтобы спустить их в карты в Английском

клубе. Он не думал о вас и о сыне, когда закладывал родовое гнездо. Почему о них должен думать я? Я купец, а не благотворительное общество.

Он был прав. Чертовски прав. В бизнесе нет места жалости. Я сама увольняла людей, когда моя пекарня была на грани разорения. Но сейчас я была по ту сторону баррикад.

Я потянулась к конверту. Пальцы не слушались, но я заставила себя открыть его. Достала плотные листы с гербовыми печатями. Яти, твердые знаки, витиеватый почерк — все плыло перед глазами. Но я делала вид, что читаю. Внимательно, въедливо.

Мне нужно было время. Мне нужно было придумать план.

— Здесь ошибка, — сказала я, поднимая на него глаза. Это был чистый блеф.

Белозеров изогнул бровь.

— Неужели? И где же?

— В расчете процентов, — я ткнула пальцем в случайную строчку. — И в условиях отчуждения. Согласно... э-э-э... новому уложению о дворянских имениях, вы не можете изъять землю без независимого аудита и согласия Опекунского совета, если наследник несовершеннолетний.

Я несла чушь. Я не знала никаких «уложений». Я просто переводила современные юридические термины на язык прошлого, надеясь, что бюрократия во все времена одинакова.

— А учитывая, что мой сын — прямой наследник титула, — добавила я, чувствуя, как голос крепнет, — любое ваше действие будет оспорено. Я найму адвоката. Я напишу в Губернское собрание. Я дойду до Петербурга. Суды будут длиться годами, Дмитрий Игнатьевич. Ваши деньги зависнут. Земля будет под арестом. Вам нужен «мертвый» актив?

В комнате повисла тишина. Слышно было только, как ветер завывает в дымоходе и как стучит мое сердце — гулко, больно, ударяясь о ребра.

Белозеров смотрел на меня. В его взгляде что-то изменилось. Исчезло высокомерное пренебрежение, появилось... удивление? Интерес?

Он медленно подошел к столу, оперся о него кулаками, нависая надо мной так близко, что я могла разглядеть крошечный шрам у него на виске и темные крапинки в радужке глаз.

Воздух между нами стал плотным, наэлектризованным.

— Вы угрожаете мне, Пелагея Андреевна? — проговорил он тихо, почти интимно. — Вы? Женщина, которая еще вчера падала в обморок от громкого голоса, теперь грозит мне судами?

— Я не угрожаю, — я заставила себя не отшатнуться, хотя инстинкт самосохранения вопил: «Беги!». — Я предлагаю сделку.

Он рассмеялся. Громко, раскатисто.

— Сделку? У вас ничего нет, баронесса. Вы нищая. Чем вы будете платить? Семейным серебром, которое ваш муж не успел пропить? Или, может быть... — его взгляд скользнул по моей фигуре, задержавшись на вырезе платья, где билась жилка, — натурой?

Кровь бросилась мне в лицо. Не от смущения — от гнева.

Я резко встала. Теперь мы стояли лицом к лицу, и, хотя мне приходилось задирать голову, я не чувствовала себя маленькой.

— Следите за языком, сударь, — прошипела я. — Я не торгую собой. Я предлагаю вам вернуть долг деньгами. Полностью. С процентами.

— Откуда? — он перестал смеяться. Лицо его стало жестким. — Клад найдете?

— Заработаю, — твердо ответила я. — У меня есть... идеи. Проекты. Дайте мне время.

— Сколько?

— Полгода.

— Месяц, — отрезал он.

— Три месяца! — торговалась я, как на турецком базаре.

— Месяц, Пелагея Андреевна. Тридцать дней.

Он выпрямился, поправил манжеты белоснежной рубашки, выглядывающей из-под сюртука.

— Я дам вам месяц. Не потому, что верю в ваши «проекты». А потому, что мне любопытно. Любопытно смотреть, как вы барахтаетесь. Это забавно. Как цирк.

Мне захотелось ударить его. Стереть эту самодовольную ухмылку с красивого лица. Но я сдержалась.

— Договорились. Месяц. Но вы отзовете иск и уберете своих людей от моего дома.

— Договорились, — кивнул он. — Но запомните, баронесса: если через тридцать дней, к полудню, вы не положите мне на стол первую часть долга — пять тысяч рублей... я лично приеду сюда. Я вышвырну вас на снег, заколочу двери, и мне будет плевать на ваши титулы, адвокатов и красивые глаза.

Он шагнул ко мне вплотную. Его рука поднялась, и я дернулась, ожидая удара или хватки. Но он лишь поправил выбившуюся прядь моих волос, едва коснувшись кожи пальцами.

Его пальцы были горячими и грубыми. От этого прикосновения меня словно током ударило. Я замерла, не в силах вдохнуть.

— Вы очень изменились, Пелагея, — прошептал он, глядя мне прямо в губы. — Горячка пошла вам на пользу. В вас появился... огонь. Главное, чтобы вы в нем не сгорели.

Он резко отвернулся, подхватил свою трость и, не прощаясь, направился к выходу.

Дверь хлопнула. В холле слышались шаги, потом звук открываемой тяжелой входной двери. Скрип колес экипажа по гравию. Фырганье лошадей.

Он уехал.

Меня отпустило.

Ноги подкосились, и я рухнула обратно в кресло. Адреналин, который держал меня на плаву, схлынул, оставив после себя опустошение и дрожь.

Зубы стучали так, что я боялась прикусить язык. Тело, ослабленное болезнью, требовало покоя. Голова кружилась, перед глазами плыли цветные пятна.

Пять тысяч рублей за месяц.

В моем времени это было бы... сколько? Полмиллиона? Миллион?

Как? Как я могу заработать такие деньги в глухой провинции, где женщина не имеет права даже открыть счет в банке без разрешения мужчины?

Зефир. Моя единственная надежда — это зефир. Мои знания. Мои руки.

— Мама! — донесся сверху тонкий, обиженный крик. — Ты где? Я ульту уже потратил на дверь! Я есть хочу!

Миша.

Я закрыла лицо руками. Рыдать хотелось невыносимо. Хотелось свернуться калачиком под тем тяжелым одеялом и проснуться в своей квартире, пусть даже с ипотекой и одиночеством.

Но там, наверху, был мой сын. Голодный, испуганный, чужой в этом мире. И кроме меня у него никого не было.

Я с трудом поднялась. Спина болела немилосердно.

— Иду, родной! — крикнула я, стараясь, чтобы голос звучал бодро. — Иду добывать мамонта!

Я подхватила подсвечник и поплелась искать кухню.

Дом был лабиринтом. Темные коридоры, сквозняки, скрипучие половицы. Я шла на запах. Запах кислой капусты, дыма и чего-то прогорклого.

Кухня располагалась в цокольном этаже. Каменные своды, огромная русская печь, занимающая полкомнаты, длинные деревянные столы.

Я толкнула дверь ногой.

Картина, которая открылась моим глазам, заставила меня забыть о собственной слабости.

На кухне было тепло и накурено. На столе горела сальная свеча. Вокруг нее сидели трое: та самая старуха-нянька, еще один мужик в грязной рубаше и толстая баба с красным лицом — видимо, кухарка.

Перед ними стояла початая четверть мутной жидкости (самогон?), на тарелках были разложены куски ветчины, соленые огурцы и... гора пирожков.

Тех самых продуктов, которых, по словам Дуняши, в доме не было.

— А я и говорю, померла барыня-то, померла, — заплетающимся языком вещала кухарка, опрокидывая в рот стопку. — Теперь-то заживем. Граф-батюшка нас не обидит, он порядок любит...

Я молча поставила подсвечник на край стола.

Звон металла о дерево прозвучал как выстрел.

Троица подпрыгнула. Кухарка поперхнулась, мужик выронил огурец. Они уставились на меня, как на выходца с того света. Впрочем, для них я им и была. Бледная, с распущенной косой, в синем платье, с глазами, горящими бешенством.

— Приятного аппетита, — произнесла я тихо. — Поминки справляете? Рановато.

— Б-барыня... — просипел мужик, пытаясь спрятать бутылку под стол.

— Встать! — рявкнула я.

Они вскочили, сшибая лавки.

Я подошла к столу. Осмотрела этот пир во время чумы. Ветчина была отличная, розовая, с жирком. Пирожки пахли мясом.

— Значит, барчука кормить серой кашей, а сами ветчину жрете? — спросила я, беря со стола тяжелый половник. — Продуктов, говорите, нет?

— Матушка, помилуй! Бес попутал! — завывала кухарка, бухаясь в ноги. — Думали, не сдюжите вы, вот и решили... чтоб добру не пропадать...

— Вон, — спокойно сказала я. — Пошли вон из моей кухни. Все. Если через пять минут я увижу здесь хоть одну живую душу — велю выпороть на конюшне. А потом сдам в полицию за воровство.

Я не знала, могу ли я кого-то пороть. Но слово «полиция» подействовало магически. Они, толкаясь и визжа, ломанулись к черному ходу, прихватив, однако, недопитую бутылку (на это я махнула рукой).

Я осталась одна.

Опустилась на лавку. Ноги гудели.

Я взяла пирожок. Разломила. Мясо. Настоящее, рубленое мясо.

Слезы всё-таки брызнули из глаз. Я откусила кусок, жуя его сквозь рыдания. Это было вкусно. Безумно вкусно.

Я вытерла лицо рукавом.

У меня есть еда. У меня есть крыша над головой (на месяц). У меня есть сын. И у меня есть злость. Много злости.

А на злости, как известно, можно уехать гораздо дальше, чем на энтузиазме.

Я собрала на поднос пирожки, нашла кувшин с молоком (надеюсь, кипяченым), пару яблок.

— Держись, Медведь, — прошептала я в пустоту, вспоминая горячие пальцы на своей коже. — Ты хотел цирка? Ты его получишь. Но дрессировщиком в этом цирке буду я.

Я подхватила поднос и, уже не чувствуя боли в спине, пошла наверх, кормить своего маленького попаданца.

Глава 3

Миша ел так, словно не видел еды неделю. Он держал пирожок обеими руками, и жир стекал по его подбородку, капая на кружевной воротник бархатного костюмчика. В любой другой ситуации — в моей прошлой жизни — я бы уже бежала за влажными салфетками, читая лекцию о правилах этикета.

Здесь же я просто сидела на полу, прислонившись спиной к ножке перевернутого стула, и смотрела. В этом чавканье была музыка самой жизни.

— Вкусно? — тихо спросила я, когда от первого пирожка осталась только горбушка.

— Угу, — кивнул сын, набивая щеки. — Мясо настоящее. Не соя. Как у бабушки в деревне.

Он проглотил кусок и посмотрел на меня серьезно, по-взрослому.

— Мам, а мы этот левел прошли? Квест закончился?

Я вздохнула, поправляя тяжелую складку своего платья. Врать сыну я не любила. Но и говорить правду — «Миша, мы, скорее всего, умерли или провалились во времени, и я без понятия, как отсюда выбраться» — было нельзя. Психика пятилетки и так держалась на честном слове.

— Это длинная игра, зайчик, — я погладила его по растрепанным кудрям. — Многоуровневая. Мы прошли обучение. Теперь начинается основная миссия.

— А какая миссия? — глаза Миши загорелись. — Строить базу? Крафтить оружие?

— Почти. Наша миссия — выжить на этой базе, захватить ресурсы и... — я вспомнила лицо Белозерова, его насмешливые черные глаза, — и победить главного Босса.

— Того дядю с палкой? — догадался сын. — Он похож на Таноса. Только без перчатки.

— Вот именно. Но мы с тобой — команда. Банда. Помнишь?

Миша кивнул и потянулся за вторым пирожком.

Я тоже взяла один. Есть не хотелось — нервы скрутили желудок в узел, — но я заставила себя жевать. Мне нужны силы. Моему новому, щедушному телу нужны калории.

Ночь опускалась на усадьбу тяжелым, плотным одеялом. Свечи догорали, отбрасывая на стены детской причудливые тени. Стало холодно. Тепло от камина, который никто не топил весь день, давно выветрилось.

— Мам, я замерз, — пожаловался Миша, прижимаясь ко мне теплым боком.

— Иди сюда.

Я стащила с кровати тяжеленное стеганое одеяло. Мы устроили «гнездо» прямо на широком диванчике в углу, подальше от сквозняков окна. Я не стала возвращаться в свою спальню. Одной в этом огромном, пустом, скрипучем доме было жутко. Да и оставлять сына за закрытой дверью я больше не собиралась.

Я помогла Мише снять бархатный камзол (боже, сколько пуговиц!), оставшись в рубашке и штанишках. Сама я, кряхтя и извиваясь, ослабила шнуровку корсета, но снимать платье не решилась. Холод пробирал до костей.

Мы укрылись с головой.

— Спокойной ночи, агент, — шепнула я, целуя его в макушку.

— Спокойной ночи, капитан, — пробормотал он и через минуту уже сопел.

Я лежала с открытыми глазами, слушая, как дом живет своей жизнью. Где-то скрипнула половица. В дымоходе завывал ветер. В углу кто-то шуршал — надеюсь, мышь, а не призрак прабабушки.

В голове крутилась одна мысль: «Месяц. Пять тысяч рублей».

Я технолог. Я умею управлять производством. Я знаю химию продуктов. Но здесь нет конвекционных печей, нет миксеров, нет стабилизаторов. Здесь есть только печь, дрова и мои руки.

С этой мыслью я провалилась в тяжелый, без сновидений, сон.

Утро встретило меня ледяным холодом, который, казалось, щипал за нос.

Я открыла глаза и увидела облачко пара, вырвавшееся изо рта.

В комнате было градусов двенадцать, не больше. Окно затянула морозная узорчатая пленка.

Миша спал, свернувшись в тугой клубок и уткнувшись носом мне в подмышку. Я осторожно, стараясь не разбудить его и не впустить холод под одеяло, высвободилась и села.

Тело затекло. Шея болела так, словно я всю ночь разгружала вагоны. Но хуже всего было ощущение липкой грязи. Я не мылась... сколько? Дня четыре? С момента аварии.

Я подошла к умывальнику в углу. В расписном фаянсовом кувшине плавала тонкая корочка льда.

Я разбила её пальцем. Вода обожгла холодом.

— Добро пожаловать в ад, Полина, — прошептала я, глядя в мутное зеркало над комодом.

Оттуда на меня смотрела лохматая ведьма с синяками под глазами. Платье помялось, волосы стояли дыбом.

Естественные потребности организма напомнили о себе настойчиво и безжалостно. Я огляделась. В углу, за ширмой, стоял расписной фарфоровый предмет, деликатно именуемый «ночной вазой».

Унижение. Вот что это было.

В 21 веке мы не ценим унитазы и горячую воду. Мы принимаем их как данность. Но когда ты сидишь на ледяном фарфоре в промерзшей комнате 19 века, ты готова продать душу за теплый пол и кнопку слива.

Кое-как приведя себя в порядок и ополоснув лицо ледяной водой (зубной щетки не было, пришлось протереть зубы пальцем, чувствуя себя неандертальцем), я решительно направилась к двери.

Миша еще спал. Пусть спит. Чем меньше он видит этот бытовой кошмар, тем лучше.

Мне нужно было оценить масштаб катастрофы.

Я вышла в коридор. Тишина. Мертвая, звенящая тишина.

Вчера я выгнала прислугу. На эмоциях это казалось правильным решением. Гениальным ходом сильной женщины.

Утром, стоя в холодном коридоре и понимая, что печи топить некому, воды принести некому и горшок вынести тоже некому, я почувствовала себя идиоткой.

— Ау! — крикнула я в пустоту. — Есть кто живой?

Эхо отразилось от высоких потолков.

Я поплотнее закуталась в шерстяную шаль, которую нашла на кресле, и пошла вниз.

Ступени скрипели. В холле валялась брошенная Кузьмой шапка — немой памятник вчерашней битвы.

Я заглянула в гостиную. Пусто. В столовую. Пусто.

Неужели они все ушли? Даже Дуняша?

Страх, липкий и холодный, пополз по спине. Если я осталась одна с пятилетним ребенком в неотапливаемой усадьбе, мы не доживем до приезда Белозерова. Мы замерзнем к вечеру.

Я дошла до людской — коридора, ведущего к черному ходу и комнатам прислуги.

И тут я услышала звук. Тихий, сдавленный плач.

Я рванула дверь крайней каморки.

На узком сундуке, обхватив голову руками, сидела Дуняша. Рядом с ней лежал завязанный в узел платок с пожитками. Она раскачивалась из стороны в сторону и выла.

— Дуняша!

Девчонка подпрыгнула, ударившись головой о низкую полку. Увидев меня, она сползла на пол и закрыла голову руками, словно ожидая удара.

— Не гоните, барыня! Христа ради, не гоните! Идти мне некуда! Сирота я! Батюшка ваш покойный меня из деревни взял, если выгоните — пропаду, волки съедят или лихие люди обидят!

Я выдохнула. Камень с души упал с таким грохотом, что, казалось, задрожали стены. Она здесь. У меня есть руки.

Я вошла в каморку и закрыла дверь, чтобы не выпускать остатки тепла.

— Встань, — сказала я строго, но без злости.

Дуняша подняла заплаканное лицо. Нос красный, глаза опухли.

— Я тебя не гоню, — произнесла я, стараясь звучать как справедливый директор. — Те, кто воровал — ушли. Туда им и дорога. Но ты осталась.

— Так ведь... страшно, барыня, — всхлипнула она. — Вы вчера так кричали... и взглядом жгли... Думала, белая горячка у вас вернулась.

— Не горячка это, Дуня, а наведение порядка, — отрезала я. — Слушай меня внимательно. С этого дня ты не просто горничная. Ты — старшая экономка.

Дуняша перестала плакать и вытаращила глаза.

— Кто?

— Старшая по дому, — перевела я. — Правая рука моя. Будешь помогать мне во всем. Работы будет много, предупреждаю сразу. Будет тяжело. Но я буду платить тебе жалованье. Деньгами.

— Деньгами? — она недоверчиво шмыгнула носом. — Так барин покойный токмо на платья давал раз в год...

— А я буду платить каждый месяц. Рубль. Нет, два рубля, — я не знала расценок, но судя по тому, как расширились её глаза, два рубля были неплохой суммой. — Но за это я требую полного послушания. Сказала — делать, значит, делаешь. Даже если я скажу красить котов в зеленый цвет. Поняла?

— Поняла, матушка, — она поспешно закивала, поднимаясь с колен. — Котов так котов. Только нет у нас котов, сбежали все...

— Это образно, — я поморщилась. — Первое задание, госпожа экономка. Нам нужно тепло. Где истопник?

— Так сбежал Сенька-то, с кухаркой вчера.

— Значит, топить будем сами. Показывай, где дрова.

Следующий час прошел в аду. В прямом смысле слова, потому что мы спустились в преисподнюю этого дома — в подвалы и дровяные сараи.

Выяснилось страшное: дров было катастрофически мало. Поленица у стены кухни была полупустой. Хватит на пару дней, если топить только кухню и детскую.

— Кузьма, ворюга, — процедила я сквозь зубы, глядя на жалкие остатки березовых чурок. — Продал он их, что ли?

— Продал, барыня, — подтвердила Дуняша, которая, получив статус «экономки», осмелела и начала сдавать бывших коллег. — В кабак свозил, да и на сторону приторговывал. Говорил: «Барыне все одно помирать, ей тепло ни к чему».

Я жала кулаки. Если бы этот Кузьма сейчас попался мне под руку, я бы убила его тем самым поленом.

— Ладно. С этим разберемся позже. Сейчас — еда. Что у нас есть?

Мы пошли в продуктовую кладовую. Это было темное помещение с низкими сводами, пахнущее землей и сыростью.

Полки были девственно чисты. Крупа — на донышке в одном мешке, и та, кажется, с жучками. Муки — полпуда (килограммов восемь, прикинула я). Соли нет. Масла нет.

Вчерашняя ветчина была последним мясным запасом.

— Мы умрем с голоду, — констатировала Дуняша спокойным, обреченным тоном крестьянки, привыкшей к голодухам. — Надо бы в церковь сходить, барыня, попросить...

— В церковь мы пойдем, когда нам будет за что свечку купить, — отрезала я. Мозг лихорадочно работал. — Что еще есть? Погреб? Ледник?

— Есть старый погреб, — неуверенно протянула Дуняша. — Там, в дальнем углу сада вход. Только туда лет пять никто не лазил. Кузьма говорил, там вода стоит и крысы с собаку размером.

— Веди.

Мы вышли на улицу. Морозный воздух ударил в лицо, но после спертого воздуха кладовой это было даже приятно. Я куталась в шаль, Дуняша накинула какой-то тулупчик.

Вход в старый погреб был завален сухими ветками и листьями. Дверь, обитая железом, проржавела.

Мы вдвоем, ломая ногти и кряхтя, оттащили ветки. Я дернула за кольцо. Дверь со скрежетом поддалась.

Из черного зева пахло не водой и крысами, а чем-то странным. Кисло-сладким. Винным. Пряным.

— Фонарь, — скомандовала я.

Дуняша дрожащими руками зажгла «летучую мышь», которую мы прихватили с кухни.

Я шагнула первой на скользкие каменные ступени.

— Осторожно, барыня, скользко...

Мы спустились вниз. Помещение было сухим (Кузьма врал про воду, чтобы не лазить сюда). В свете фонаря замечались тени — паутина свисала с потолка серыми гирляндами.

Но главное было не это.

Главным были ящики. Десятки деревянных ящичков, стоящих вдоль стен.

Я подошла к ближайшему. Доски подгнили. Сквозь щели виднелось что-то бурое, сморщенное.

Запах стоял такой густой, что хоть ножом режь. Запах сидра, уксуса и... яблок.

Я сунула руку в ящик и достала плод.

Он был коричневым, мягким, побитым гнилью. Но я узнала его форму. И запах. Этот характерный, ни с чем не сравнимый аромат.

— Антоновка, — выдохнула я.

— Гниль одна, барыня, — разочарованно протянула Дуняша, заглядывая мне через плечо. — Пропало все. Свиньям только, да и то побрезгуют. Эх, сколько добра перевели...

Я сжала яблоко в руке. Мякоть поддалась, брызнул липкий сок.

Для Дуняши это был мусор. Гниль.

А я видела золото.

Антоновка. Самый богатый пектином сорт яблок в мире. При запекании и уваривании пектин высвобождается, превращаясь в мощнейший природный желеобразователь.

Гниль? Плевать. Мы обрежем. Мы вырежем сердцевину. Нам нужно пюре. Нам нужна основа.

— Это не гниль, Дуня, — сказала я, и голос мой дрогнул от возбуждения. — Это наш спасательный круг.

Я осветила фонарем дальше. Ящичков было много. Даже если половину придется выбросить, нам хватит на... сотни килограммов зефира.

— А это что? — Дуняша указала в дальний угол, где под грудой старой рогожи угадывались какие-то конусы.

Я подошла, откинула пыльную ткань.

Там, в темноте, стояли они. Сахарные головы.

Твердые, как камень, пожелтевшие от времени конусы сахара, завернутые в синюю бумагу. Старые запасы. Видимо, еще дед моего покойного мужа был запасливым хомяком.

Штук десять голов. В каждой — пудов по пять.

Сахар. Яблоки.

У меня перехватило дыхание.

Зефир. Настоящий, воздушный, белоснежный зефир.

В 19 веке в России знали пастилу — плотную, тягучую, медового цвета (как Белевская). Но французский зефир, взбитый до состояния облака, был редкостью. Его привозили из Парижа, продавали в дорогих кондитерских на Невском за бешеные деньги.

А я знала технологию. Я знала, как взбить белок с яблочным пюре так, чтобы он держал форму без желатина, только на пектине и сахаре.

— Дуняша, — я повернулась к девушке. Глаза мои, наверное, светились в темноте, как у кошки. — Бери ящик. Тащи на кухню.

— Гнилушки эти? — удивилась она. — Зачем, барыня?

— Тащи, говорю! И сахар! Мы будем готовить.

— Что готовить-то? Компот из гнилья?

— Нет, — я усмехнулась, чувствуя, как внутри закипает тот самый азарт, который когда-то помог мне открыть первую точку в торговом центре. — Мы будем готовить будущее.

Мы сделали три ходки.

Моя спина, затянутая в корсет, молила о пощаде. Руки, непривычные к тяжестим, тряслись. Но я не останавливалась.

На кухне мы развели огонь (кое-как, с третьей попытки, потратив драгоценные сухие щепки). Печь начала гудеть, пожирая дрова, но давая такое желанное тепло.

Я вывалила яблоки на огромный деревянный стол.

— Ножи, — скомандовала я.

Мы встали рядом — барыня и служанка — и начали кромсать антоновку.

Запах гнили и яблок заполнил кухню. Руки стали липкими и коричневыми от окислившегося железа.

— Обрезай все черное, — учила я. — Оставляй только мякоть. Кожуру можно оставить, в ней больше всего пектина, потом через сито протрем.

Дуняша работала молча, поглядывая на меня с опаской. Она явно решила, что барыня все-таки тронулась умом, но два рубля жалованья удерживали её от побега.

Я нашла в шкафу сито. Старое, волосяное. Пойдет.

Нашла медные тазы. Позеленевшие, но если почистить песком и золой — будут сиять. Медь — идеальна для взбивания белков, ионы меди стабилизируют пену. Спасибо урокам химии.

Сахарную голову пришлось колоть специальными щипцами, а потом толочь в ступке. Это была адская работа. Мышцы ныли.

— Ничего, — бормотала я, ударяя пестиком. — Фитнес. Бесплатный фитнес 19 века. Дверь скрипнула.

На пороге стоял Миша. Заспанный, в одних штанишках, босой. Он кутался в одеяло, которое волочилось за ним, как мантия короля.

Он посмотрел на гору яблочных очистков. На наши перепачканные лица. На кипящий чан с водой, куда я бросала нарезанные яблоки для размягчения.

— Мам? — спросил он осторожно. — Мы что, варим зелье? Ты ведьма?

Дуняша испуганно перекрестилась.

Я вытерла пот со лба тыльной стороной ладони, оставив на лице грязный развод.

— Нет, малыш. Мы не варим зелье.

— А что? Компот? — Миша подошел ближе, морща нос от кислого запаха. — Фу, пахнет как мусорка.

Я присела перед ним на корточки, не обращая внимания на грязный пол.

— Это не мусорка, Миша. Это основа. Секретный ингредиент.

— Для чего?

— Мы будем делать сладости. Такие, каких здесь никто не пробовал. Зефирки. Маршмеллоу. Помнишь, мы жарили на даче?

Глаза сына расширились.

— Белые такие? Вкусные?

— Да. Только лучше.

— Круто, — он серьезно кивнул. — Это типа стартап? Как в Тик-Токе, где мужик из скотча сделал машину?

Дуняша выронила нож.

— Тик... ток? — прошептала она, глядя на ребенка как на пророка.

— Это... название нашей фирмы, — быстро соврала я, глядя на Дуняшу. — Французское слово. Означает «Время идет». Тик-так. Понимаешь?

— А, время... — успокоилась эконожка. — Понимаю.

— Мы будем богатыми? — деловито спросил Миша, подбирая кусочек сахара со стола.

Я посмотрела на свои грязные руки, на закопченный потолок, на жалкую кучку дров у печи.

Вспомнила надменный взгляд Дмитрия Белозерова. Его слова: «Вышибу на снег».

Злость снова поднялась во мне горячей волной.

— Будем, сынок, — твердо сказала я. — Мы будем чертовски богатыми. Если только у меня не отвалятся руки взбивать эту массу венчиком.

— А что такое венчик? — спросил Миша.

Я посмотрела на пучок березовых прутьев, которым Дуняша обычно взбивала яйца для омлета.

— Это, Миша, наш главный инструмент производства. И сейчас ты увидишь магию. Дуняша, неси яйца! Нам нужны белки. Много белков!

Работа закипела. И пусть за окном выл ветер, а в кармане не было ни гроша, на этой кухне, пахнувшей яблоками и надеждой, рождалась империя.

Глава 4 (Белозеров)

от лица Дмитрия Белозерова

Колеса экипажа месили грязную снежную кашу, и каждый толчок отдавался глухим раздражением где-то под ребрами. Я смотрел в темное окно, за которым проплывали редкие огни уездных домишек, но видел перед собой не унылый пейзаж ноябрьской губернии, а ледяные глаза баронессы Воронцовой.

— Паркет, — пробормотал я вслух, усмехнувшись. — Она будет чинить паркет.

Кучер Игнат, сидевший на козлах, что-то прикрикнул на лошадей, но я его не слушал.

Я ехал в эту проклятую усадьбу с одной целью: вышвырнуть вдову. Заколотить окна, выставить охрану и забыть о долге Воронцова как о дурном сне. Я не благотворитель. Я купец первой гильдии, и мое состояние построено на железных принципах: взял — верни. Не можешь вернуть — плати имуществом.

Но вместо того чтобы приказать своим людям выносить вещи, я дал ей месяц.

Тридцать дней.

Зачем?

Я потер переносицу, пытаюсь отогнать наваждение.

В ней что-то изменилось. Раньше, когда покойный барон — этот напыщенный индюк, проигравший всё, вплоть до исподнего, — еще был жив, я видел его жену пару раз. Она была похожа на тень. Бледная, с вечно опущенными глазами, пугливая, как лань. Она шарахалась от собственной тени и, казалось, извинялась за сам факт своего существования.

Сегодня передо мной стояла другая женщина.

Внешне та же — худая до прозрачности, с синяками под глазами после болезни. Но внутри... Внутри у неё словно включили печь.

Она смотрела на меня не как на господина, от которого зависит её жизнь, а как на равного. Или даже... свысока? Эта дерзость, с которой она выгнала управляющего. Этот блеф с документами (я прекрасно видел, что она не понимает ни слова в юридических казуистиках, но держалась так, будто за ней стоит армия столичных адвокатов).

И этот запах.

В затхлом, промерзшем доме от неё пахло не лекарствами и не страхом. От неё пахло чем-то теплым. Яблоками? Ванилью?

Я вспомнил момент, когда коснулся её волос. Это вышло случайно, импульс, которому я не успел воспротивиться. Прядь была мягкой, живой. И меня ударило током. Не статическим электричеством, а чем-то другим, животным, древним.

— Дурак ты, Белозеров, — сказал я своему отражению в темном стекле. — Стареешь. На жалость потянуло? Или на экзотику?

Жалость здесь была ни при чем. Я нутром чувал: она не отдаст деньги. Пять тысяч за месяц? Нереально. У неё нет ни производства, ни ренты, ни богатой родни.

Через тридцать дней я приеду и заберу имение. Это факт.

Но этот месяц... Я купил себе билет в первый ряд. Я хотел видеть, что она будет делать. Как будет выкручиваться. Это было интереснее, чем скучные сводки с биржи.

Экипаж въехал в город. Спасск-на-Волге уже спал, лишь возле трактиров и купеческих клубов горели фонари.

— К конторе правь, Игнат! — крикнул я, открыв окошко. — И поживее!
Мне нужно было выпить. И поработать. Работа всегда выбивала дурь из головы.

Утро следующего дня встретило меня серым небом и визитом, которого я ждал меньше всего.

Я сидел в своем кабинете в конторе, просматривая счета за лес. В печи уютно потрескивали дрова, пахло кофе и сургучом.

Дверь распахнулась без стука.

На пороге стоял граф Аркадий Петрович Воронцов.

Если есть на свете порода людей, которых я презирал больше, чем пьяниц, то это были обедневшие аристократы, цепляющиеся за остатки бывшего величия.

Граф был именно таким. Напомаженный, в сюртуке, который видел лучшие времена еще при Александре Втором, с тростью, инкрустированной фальшивыми камнями. Его лицо, исчерченное морщинами и пороками, растянулось в приторной улыбке.

— Дмитрий Игнатьевич! — воскликнул он, входя и распространяя вокруг себя запах дешевой лавандовой воды. — Любезнейший! А я как раз мимо проезжал, дай, думаю, узнаю, как ваши дела.

Я не встал. Лишь кивнул на стул, даже не предлагая чая.

— И вам доброго утра, граф. Если вы насчет векселей вашего племянника, то очередь еще не подошла.

— Полноте, — он отмахнулся, усаживаясь и складывая руки на набалдашнике трости. Руки у него были холеные, но хищные, как лапы коршуна. — Я насчет «Отрадного». Слышал, вы вчера навещали бедную вдову?

Слухи в Спасске летали быстрее телеграмм.

— Навещал, — сухо подтвердил я, откладывая перо.

— И, полагаю, выставили эту безумную вон? — глаза графа хищно блеснули. — Право слово, это было бы актом милосердия. Пелагея Андреевна не в себе. Горячка повредила её рассудок. Она опасна для общества и, главное, для моего внучатого племянника, Николеньки. Я откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы в замок.

Вот оно что. Старый лис беспокоится не о вдове. Ему нужен мальчик.

Если имение уйдет за долги, единственное, что останется у Воронцовых — это титул и крохи опекунских денег, которые положены сироте от Дворянского собрания. Граф хотел присосаться к этой кормушке. А для этого ему нужно было признать мать недееспособной.

— Я не заметил безумия, Аркадий Петрович, — солгал я. Точнее, не совсем солгал. Безумие там было, но не медицинское, а скорее отчаянное. — Баронесса вполне разумна. Мы заключили сделку.

Граф замер. Улыбка сползла с его лица, как плохо приклеенная маска.

— Сделку? С женщиной? Помилуйте, Дмитрий Игнатьевич, какие сделки могут быть с куклой?

— Я дал ей отсрочку. Месяц.

— Месяц?! — взвизгнул он, вскакивая. — Вы с ума сошли! За месяц она окончательно разорит усадьбу! Она продаст мебель, картины... Это всё — наследство Николеньки! То есть... — он осекся, поняв, что сболтнул лишнего, — то есть залог вашего долга!

Я смотрел на него и чувствовал холодное удовлетворение.

Мне было плевать на мебель. Но видеть, как этот стервятник теряет самообладание, было приятно.

— Мебель описана, граф. Если пропадет хоть стул — она пойдет в тюрьму. Но пока она хозяйка. И я дал слово. Купеческое слово, знаете ли, крепче дворянского будет.

Воронцов побагровел. Его шея над крахмальным воротничком надулась.

— Вы... вы потакаете её болезни! Я этого так не оставлю! Я подам прошение в Опекунство! Я докажу, что она морит ребенка голодом! Я...

— Вон, — тихо сказал я.

Граф поперхнулся воздухом.

— Что?

— Покиньте мой кабинет, Аркадий Петрович. У меня дела. А ваши семейные дразги меня утомляют.

Он сверкнул глазами, прошипел что-то нечленораздельное и вылетел из кабинета, громко стуча тростью.

Я проводил его взглядом.

Враг моего врага — мой друг? Нет, Пелагея мне не друг. Но теперь я точно не дам графу сожрать её раньше времени. Просто из принципа.

Я позвонил в колокольчик.

В кабинет тут же просочился мой приказчик, Прохор. Юркий мужичок с бегающими глазами, знающий всё обо всех в городе.

— Звали, Дмитрий Игнатьевич?

— Звал. Слушай сюда, Прохор. Есть у тебя в деревне возле «Отрадного» надежный человек?

— А как же, — Прохор ухмыльнулся в бороду. — Кум мой там живет, лесником подрабатывает.

— Пусть приглядывает за усадьбой.

— Это зачем же? Уж не воров ловить?

— Нет. За баронессой.

Я встал и подошел к окну. Снег повалил сильнее, скрывая грязь мостовой.

— Пусть смотрит, что она делает. Кто приходит, кто уходит. Чем живет. Но главное — пусть не вмешивается. Даже если там пожар начнется — сначала мне доложить. Понял?

— Понял, Дмитрий Игнатьевич. Глаз да глаз.

— И вот еще... — я замялся, чувствуя себя глупо. — Пусть узнает, чем она ребенка кормит. И есть ли у них дрова.

Прохор удивленно вскинул брови, но вопросы задавать не стал. Кивнул и исчез.

Я остался один.

Зачем мне это?

Затем, что я не убийца. Выгнать должника — это бизнес. Позволить женщине с ребенком замерзнуть насмерть в пустом доме — это уже статья перед Богом.

«Ты просто хочешь знать, когда она сломается», — шепнул внутренний голос. — «Чтобы приехать и спасти её. Как герой».

— Чушь, — ответил я вслух. — Я просто берегу свои активы.

К вечеру дела в конторе были закончены. Я подписал контракты на поставку леса в Нижний, проверил счета мануфактуры и собирался ехать в клуб на ужин.

Выходя на улицу, я нос к носу столкнулся с Аглаей Бельской.

Дочь предводителя дворянства была красива той холодной, фарфоровой красотой, которая всегда меня отталкивала. Она напоминала дорогую вазу: смотреть приятно, трогать страшно, а пользы никакой.

Аглая давно вела на меня охоту. Ей, как и её папеньке, нужны были мои миллионы, чтобы залатать дыры в семейном бюджете. Она «случайно» оказывалась там же, где и я, стреляла глазами и намекала на то, что «союз капитала и титула» — это модно.

— Дмитрий Игнатьевич! — пропела она, беря меня под руку с такой уверенностью, будто мы уже помолвлены. Она была в роскошной шубке, пахла тяжелыми французскими духами, от которых першило в горле. — Какая встреча! Вы в собрание?

— Нет, домой, — я попытался деликатно высвободить локоть, но хватка у неё была железная.

— Фи, как скучно. А мы вот обсуждали последние новости. Слышали про «Отрадное»?

Её глаза загорелись злым огоньком.

— Говорят, вдова Воронцова окончательно спятила. Разогнала всех слуг, даже кухарку! Представляете? Сидит там одна, голодная, в холоде. Папенька говорит, это конец. Скоро мы будем иметь удовольствие видеть её на паперти.

Она засмеялась. Смех был звонким, как серебряный колокольчик, но в нем не было радости. Только злорадство.

Меня передернуло.

Я вспомнил Пелагею. В старом платье, с перепачканными сажей руками, но с прямой спиной. Она боролась. Она грызла землю ради сына.

А эта расфуфыренная кукла, которая в жизни тяжелее веера ничего не поднимала, смеет её судить?

— Не торопитесь с выводами, Аглая Петровна, — сказал я холодно, останавливаясь. — Иногда те, кого вы списываете со счетов, оказываются живучее, чем кажется.

— Ой, да бросьте! — она фыркнула. — Что она может? Она же блаженная. Кстати, проезжала я сегодня мимо их усадьбы... Странное дело.

— Что именно?

— Дым. Из трубы кухни валит черный дым, как будто там паровоз топят. И запах... — она сморщила носик. — На всю версту пахнет печеными яблоками и жженым сахаром. Уж не спалила ли она дом вместе с собой?

Яблоки? Сахар?

Я замер.

Управляющий Кузьма клялся, что в доме шаром покати. Что жрать им нечего.

Откуда яблоки? Откуда дрова для такой топки?

В голове всплыла картинка: тонкие запястья Пелагеи, её лихорадочный блеск в глазах. «Я заработаю. У меня есть идеи».

Неужели она не врала?

Неужели эта хрупкая женщина, которую я мысленно уже похоронил, решила... печь пироги на продажу?

Мысль была абсурдной. Баронесса — у печи? Торгует булками? Это скандал. Это падение. Дворянство ей этого не простит.

Но почему-то вместо презрения я почувствовал странную гордость. И дикое, неумное любопытство.

— Я думаю, дом цел, — ответил я Аглае, отстраняясь окончательно. — Прошу простить, меня ждут дела.

— Какие дела на ночь глядя? — капризно надула губы она.

— Срочные.

Я сел в сани.

— Домой, барин? — спросил Игнат.

Я помолчал секунду, глядя в сторону, где за темным лесом угадывалась крыша «Отрадного».

Пахнет яблоками.

Мне безумно захотелось поехать туда прямо сейчас. Ворваться на эту кухню, увидеть её — растрепанную, в муке, живую.

Но я сдержался. Рано.

Пусть поварится в собственном соку. Пусть докажет, что её слова — не пустой звук.

— Домой, — кивнул я. — Но завтра, Игнат, готовь легкие сани. Поедем с инспекцией. Надо проверить... залог.

Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.

В темноте мне почудился тонкий аромат ванили, перебивающий запах навоза и духов Аглаи.

♥# Нравится книга? Подпишитесь на мою страницу по этой ссылке: <https://litnet.com/shrt/8-uo> Просто нажмите кнопку "Отслеживать автора"вверху профиля! Плюсик к карме и +100 к моей мотивации работать еще больше ради Вас! ♥#

Глава 5

Если вы думаете, что ад — это котлы с кипящей серой, то вы ошибаетесь. Ад — это русская печь, которую ты пытаешься растопить сырыми дровами в шесть утра, затянутая в корсет, пока твой пятилетний сын спрашивает, почему в этом мире нет «Майнкрафта».

Я вытерла сажу со щеки тыльной стороной ладони. Печь, это огромное беленое чудовище, занимавшее полкухни, наконец-то загудела ровно и сыто. Огонь лизнул березовые поленья — остатки, которые мы наскребли по сусекам.

— Мам, а мы скоро будем крафтить еду? — Миша сидел на широкой лавке, болтая ногами. На нем была огромная вязаная кофта, которую Дуняша нашла в сундуке (видимо, кухаркина), и он походил в ней на маленького нахохлившегося воробья.

— Скоро, сынок. Нам нужен главный ингредиент. Лут.

— Лут — это хорошо, — серьезно кивнул сын. — С лутом можно прокачаться.

Дверь, ведущая во двор, распахнулась, впуская клуб морозного пара и запыхавшуюся Дуняшу.

Моя новоиспеченная экономка выглядела как снеговик: платок в инее, нос красный, ресницы слиплись. Но в подоле передника она что-то бережно прижимала к животу.

— Добыла! — выдохнула она, сияя, как будто нашла клад Колчака. — Барыня, ей-богу, чудо! Рябая-то, Пеструшка, что Кузьма хотел в суп пустить, снеслась! И под насестом, в сене, еще кладку нашла. Свежие, теплые еще!

Она вывалила на стол свое сокровище. Десяток яиц. Грязноватых, в пуху и соломе, но для меня они были дороже яиц Фаберже.

Яйца — это белок. Белок — это структура. Без них наш яблочный стартап превратился бы в обычное повидло.

— Ты мой герой, Дуня, — искренне сказала я. — Миша, зацени. Это легендарный дроп.

Миша подошел, ткнул пальцем в яйцо.

— Фу, оно в каашках.

— Это органика, детка, — усмехнулась я, осторожно, как сапер, перекладывая яйца в миску с водой. — Эко-продукт. В нашем времени за такое втридорога платили.

Теперь, когда у нас были все компоненты — яблоки (целая гора гниловатой, но ароматной антоновки), сахар (каменный, но сладкий) и яйца, — можно было начинать магию. Или каторгу. Грань между ними в 1890 году была тонкой.

— Режь мельче! — скомандовала я.

Мы стояли у стола втроем. Я, Дуняша и Миша, которому доверили (под моим строгим присмотром) тупой столовый нож.

Антоновка пахла одуряюще. Этот запах — кислый, винный, терпкий — перебивал затхлость старого дома. Мы вырезали гниль, оставляя только чистую, плотную мякоть.

Дуняша работала споро, по-крестьянски, но все время косилась на меня.

— Барыня, негоже вам... Ручки-то белые, испачкаете. Да и корсет, поди, давит.

— Давит, — честно призналась я. — Но голод, Дуня, давит сильнее. А Белозеров давит еще хуже. Так что работаем.

Я отправила первую партию яблок в печь. Теперь нужно было ждать, пока они испекутся в кашу. Пектин — наше главное оружие — высвобождается при термообработке.

Пока яблоки пеклись, я занялась сахаром.

В моем цеху стояли промышленные мельницы. Здесь у меня была латунная ступка и пестик весом в килограмм.

— Представь, что это голова Кузмы, — пробормотала я, с силой опуская пестик на кусок сахарной головы. Хруст!

— Мам, ты такая агрессивная, — заметил Миша, грызя яблочную шкурку. — Тебе надо к психологу. Или на йогу.

— Мне надо пять тысяч рублей, Миша. Это лучшая медитация.

Когда я достала противень из печи, кухню заволокло паром. Печеные яблоки осели бурой массой. Теперь начиналось самое страшное.

— Сито, — я протянула руку, как хирург просит скальпель.

Горячую, обжигающую пальцы массу нужно было протереть. Быстро. Пока не остыла.

Дуняша пискнула, когда брызги пюре попали ей на руку.

— Терпи, казак, атаманом будешь, — подбодрила я её, чувствуя, как у самой уже волдыри на подушечках пальцев надуваются. — Нам нужна эта жижа. Это клей, Дуня. Он склеит наше будущее.

— Клей? — она округлила глаза. — Так мы клей варим?

— Вроде того. Кондитерский бетон.

К полудню у нас был таз густого, янтарного яблочного пюре. Я добавила в него сахар (в пропорции один к одному, на глаз, молясь богам кондитерки, чтобы не ошибиться) и оставила остывать.

Теперь — сироп.

Я насыпала в медный сотейник (нашла его в кладовой, отчистила песком до блеска) сахар, плеснула немного воды.

— Агар-агара нет, — бормотала я себе под нос, помешивая варево деревянной ложкой. — Значит, работаем только на пектине и белке. Заварная технология. Итальянская меренга, но на русский лад.

— С кем вы говорите, барыня? — опасливо спросила Дуняша.

— С духами великих кондитеров, — отшутилась я.

Сироп закипел. Пузыри становились ленивыми, тягучими. Термометра не было. В прошлой жизни я просто тыкала щупом и ждала заветных 110 градусов.

Здесь я налила в чашку ледяную колодезную воду.

Капнула сироп. Капля упала на дно, не растворившись. Я сунула пальцы в воду, поймала каплю, скатала шарик.

Мягкий. Пластичный.

— Мягкий шарик, — выдохнула я. — Готово. Снимай с огня!

И тут начался настоящий ад.

Я вылила белки (три штуки, холодные, тщательно отделенные от желтков) в яблочное пюре. Смесь в большом медном тазу выглядела уныло и грязно-коричнево.

— А теперь, — я взяла в руки пучок березовых прутьев, который Дуняша связала по моей просьбе, — молимся, чтобы у меня не отвалились руки.

Я начала взбивать.

Вжик-вжик-вжик.

Медь — отличный материал. Ионы меди стабилизируют белок, не дают ему опасть. Но медь не крутится сама.

Первые пять минут я держалась на энтузиазме. Масса посветлела, стала пениться.

На десятой минуте я поняла, почему дворянки не готовили сами. Корсет впивался в ребра при каждом движении руки. Плечо горело огнем. Пот тек по спине ручьем, пропитывая тонкую сорочку под платьем.

— Давайте я, барыня! — Дуняша, видя, что я сейчас упаду в этот таз лицом, перехватила веник.

У неё, привычной доить коров и таскать воду, хватка была железная. Под её мощными движениями масса начала расти.

Она белела на глазах. Из унылой каши превращалась в белоснежное, глянцевое облако. Увеличилась в объеме в два, в три раза!

— Тонкой стружкой! — скомандовала я, хватая сотейник с горячим сиропом.

Я вливала кипящий сахар в белковую пену, а Дуняша взбивала, взбивала, взбивала. Пар поднимался от таза, пахнувший ванилью (нашла стручок в шкафу, высохший, но живой!) и карамелью.

Масса стала плотной. Она наворачивалась на прутья, стояла пиками, блестела, как первый снег.

Это было чудо. Настоящее, химическое, кулинарное чудо посреди разрухи 19 века.
— Стоп! — крикнула я.

Дуняша упала на лавку, тяжело дыша. Руки у неё тряслись.

Я зачерпнула пальцем белоснежную массу. Она была теплой, упругой. Лизнула.

Сладость взорвалась на языке, сменившись кислинкой антоновки. Текстура была идеальной — нежной, как поцелуй, и плотной, как обещание купца.

— Миша, иди сюда! — позвала я.

Сын подошел, с опаской заглянул в таз.

— Пробуй.

Он осторожно лизнул ложку. Его глаза распахнулись.

— Ого! — сказал он с благоговением. — Мам, это вкуснее, чем маршмеллоу из пачки. Это как... как облако со вкусом жвачки, только натуральное!

— Работает, — я прислонилась к теплой печи, чувствуя, как дрожат колени. — Это работает.

— Барыня, — прошептала Дуняша, глядя на таз как на икону. — Это ж чистый снег! Как вы из гнилушек такое сотворили? Уж не колдовство ли?

— Наука, Дуня. Технология. И немного злости на одного самоуверенного медведя.

Радоваться было рано. Зефирная масса на пектине начинает стабилизироваться (застывать) уже при сорока градусах. У нас было минут пятнадцать, чтобы превратить это ведро сладкой пены в красивые конфеты.

Кондитерских мешков не было. Насадок «закрытая звезда» — тем более.

Я схватила плотную льняную салфетку, которую приготовила заранее. Свернула кулек, закрепила край булавкой. Ножницами срезала уголок.

Получился примитивный корнет.

— Доски! — рявкнула я. — Маслом смазали?

— Смазали, матушка, смазали!

Мы выложили доски на стол.

Я наполнила кулек теплой массой. Она была податливой, живой.

Первая зефирка шлепнулась бесформенной лепешкой.

— Черт, — выругалась я по-русски (из 21 века), чем заставила Дуняшу вздрогнуть. — Рука дрожит.

Соберись, Полина. Ты делала свадебные торты на пять ярусов. Ты сможешь отсадить ровные кругляши.

Я выдохнула, поймала ритм.

Раз — завиток. Два — завиток.

Без фигурной насадки они получались гладкими, похожими на морские камушки или маленькие купола. Но они были ровными, блестящими и бесконечно аппетитными.

Дуняша смотрела на это как на представление в театре.

— Красота-то какая... — шептала она.

Когда масса в тазу закончилась, вся кухня была заставлена досками. Сотни белоснежных полусфер подсыхали, покрываясь тончайшей сахарной корочкой.

Я разогнула спину. В позвоночнике что-то хрустнуло.

— Всё, — выдохнула я. — Теперь не дышать на них. Пусть сохнут. Сутки. Вечер навалился внезапно.

Мы сидели за столом — грязные, уставшие, но абсолютно счастливые. Я была вся в муке и сахарной пудре. На щеке Миши засохла сладкая клякса. Дуняша выглядела так, будто боролась с медведем, но победила.

Мы пили чай — пустой, жидкий, заваренный на травах, которые Дуняша нашла на чердаке (зверобой и мята). Желтки от яиц мы пустили на омлет — роскошный ужин по нынешним временам.

На кухне было тепло, пахло ванилью и яблоками. Уют, которого этот дом не знал годами, вернулся.

— Мам, — Миша сонно моргал, прихлебывая чай. — А мы продадим это за миллион?

— За миллион — вряд ли. Но на дрова и мясо хватит. И Белозерову нос утрем.

При мысли о Дмитрие внутри что-то екнуло. Я представила его лицо, когда принесу ему деньги. Он удивится? Разозлится? Или снова посмотрит тем темным, тягучим взглядом, от которого у меня мурашки по коже?

«Не думай о нем, Полина. Он враг. Он хищник. Ты для него — дичь».

Вдруг тишину вечера разорвал яростный лай дворовых псов (прибившихся дворняг, которых я вчера велела подкормить).

Следом послышался стук колес и фыркание лошади.

Кто-то подъехал прямо к черному ходу.
Мы переглянулись.

— Приставы? — одними губами спросила я. — Белозеров?

— Не, — Дуняша метнулась к окну, протерла запотевшее стекло. — Барин бы в парадное поехал. А тут... Ох ты ж, матушка пресвятая!

Она отшатнулась от окна, лицо её побелело.

— Кто там? — я вскочила, опрокинув кружку.

— Марья Гавриловна! Соседка наша, помещица!

— Ну и что? — не поняла я паники.

— Да вы что, барыня! Это ж главная сплетница губернии! Её сам губернатор боится! У неё язык что помело — разнесет по всему свету! Она ж, змея подколотная, наверняка пронюхала, что слуг нет, вот и приехала разнюхать, как вы тут помираете!

Стук в дверь кухни стал настойчивым, требовательным.

— Открывай, Дунька! Я вижу, свет горит! — донесся глухой, властный голос с улицы. — Знаю, что дома вы!

Я оглядела себя.

Платье в пятнах. Фартук грязный. Лицо в пудре. Волосы выбились из косы.

Вокруг — сотни зефирок. Кухня похожа на цех.

Если она увидит меня в таком виде — это конец репутации. «Баронесса опустилась до стряпни! Готовит как кухарка! Нищая!». Завтра об этом будут знать в каждом салоне. Меня поднимут на смех. Кредиторы (другие, кроме Белозерова) налетят как коршуны. Дядя получит козырь для опеки — «мать не в себе, играет в песочницу на кухне».

— Не открывай, — шепнула я. — Притворимся, что нас нет.

— Так собаки лают! И дым из трубы! — зашептала в ответ Дуняша. — Она не уйдет. Она сейчас в окно полезет, она такая!

Стук повторился, уже ногой.

— Пелагея Андреевна! Голубушка! Неужто вы старую соседку на морозе держать будете? Я вам гостинчик привезла, наливочки!

Паника накрыла меня ледяной волной.

Прятать зефир некуда — он везде. И запах... этот запах не спрячешь.

Что делать? Что делать?!

Взгляд упал на Мишу. Он сидел спокойно и доедал омлет.

— Мам, а чего ты боишься? — спросил он громко. — Ты же говорила, это стартап. Презентация.

Презентация.

Слово щелкнуло в голове, как затвор.

Если ты не можешь скрыть преступление — сделай его подвигом. Если не можешь спрятать бардак — назови его инсталляцией.

Я выпрямилась.

В 21 веке крафтовые продукты, сделанные руками хозяйки, стоили дороже заводских. «Домашняя кондитерская», «Эксклюзив», «Ручная работа».

Почему я стыжусь? Я делаю уникальный продукт.

Я не кухарка. Я — творец.

— Дуня, — скомандовала я, срывая грязный фартук. — Открывай.

— Барыня, вы что? Срам-то какой!

— Открывай! — я быстро пригладила волосы, вытерла лицо влажной тряпкой (надеюсь, пудра стерлась, а не размазалась). — Миша, сядь ровно. Улыбайся. Мы принимаем гостей.

Я встала посреди кухни, приняв самую гордую позу, на которую была способна. Спина прямая, подбородок вверх. Пусть я в муке. Это не грязь. Это звездная пыль.

Дуняша, крестясь и всхлипывая, отодвинула засов.

Дверь распахнулась.

В кухню вплыла (иначе не скажешь) гора мехов. Марья Гавриловна была женщиной монументальной. Три подбородка, маленькие глазки-буравчики, соболья шуба, которая стояла, наверное, как вся моя усадьба.

Она втянула носом воздух, как гончая, почуявшая дичь.

— Mon dieu! — прогудела она басом. — Я думала, тут пожар, дым валит... А тут...

Её взгляд метнулся по столам, уставленным белоснежными рядами зефира. Потом уперся в меня.

Она ожидала увидеть заплаканную вдову в трауре. А увидела женщину с горящими глазами, стоящую среди сладкого изобилия.

— Пелагея? — она моргнула. — Что это такое? Вы... вы что, наняли полк кондитеров?

— Добрый вечер, Марья Гавриловна, — я улыбнулась. Улыбка вышла хищной. — Простите, что принимаю на кухне. У нас... творческий процесс. Эксперимент.

— Эксперимент? — она подошла к столу, сняла перчатку и, не спрашивая разрешения, ткнула пальцем в крайнюю зефирку. Та спружинила. — Что это? Пастила? Но она белая, как снег!

— Это не пастила, — сказала я, чувствуя, как внутри дрожит струна напряжения. — Это французский зефир. По старинному рецепту... моей прабабушки из Парижа. Я решила возродить традицию.

Соседка подцепила зефирку наманикюренным пальцем и отправила в рот.

Я замерла.

Она жевала медленно, прикрыв глаза.

Вкус. Тот самый вкус, который должен был покорить или убить меня.

— Ммм... — протянула она. — Нежно. Воздушно. И кислинка... Антоновка?

— Она самая.

Марья Гавриловна открыла глаза. В них больше не было насмешки. В них был жадный интерес сладкоежки и сплетницы, которая нашла сенсацию.

— И вы... — она оглядела мой наряд, — вы сами это делали?

— Разумеется, — я вскинула голову еще выше. — Настоящее искусство не терпит рук прислуги. Это... хобби. Для души.

— Хобби, — повторила она, потянувшись за второй штучкой. — Голубушка, да это же прелесть! У губернатора на балу подавали какое-то французское безе, так оно и в подметки этому не годится! Сухое, как подошва! А это... тает!

Она съела вторую. Потом третью.

— Знаете что, Пелагея Андреевна, — сказала она, облизывая палец (плевать на этикет). — У меня в субботу салон. Будет сам вице-губернатор. Я хочу угостить их этим... как вы сказали? Зефиром?

— Зефиром, — кивнула я, чувствуя, как сердце начинает биться в ритме победного марша.

— Я куплю у вас всё, — заявила она безапелляционно. — Сколько здесь? Два пуда? Я заберу всё. Прямо сейчас. Мой кучер погрузит.

Я посмотрела на Дуняшу. Та стояла с открытым ртом.

Я посмотрела на Мишу. Он показал мне большой палец под столом.

Я посмотрела на соседку.

— Прямо сейчас нельзя, Марья Гавриловна, — мягко, но твердо сказала я. — Технология. Ему нужно сохнуть сутки. Иначе он помнется в коробках. Но в субботу... я могу прислать вам свежайшую партию. В красивой упаковке.

— Договорились! — она хлопнула в ладоши. — И цену обсудим. Я плачу щедро за эксклюзив. А то эти городские кондитеры совсем распустились, дерут три шкуры за черствые пряники.

Она еще полчаса ворковала, пытаясь вывести, правда ли, что Белозеров меня выгоняет (я ушла от ответа, намекнув, что у нас с Дмитрием Игнатьевичем «сложные деловые отношения»), и наконец уехала, оставив на столе задаток — хрустящую десятирублевую бумажку.

Десять рублей! Жалованье Дуняши за пять месяцев!
Когда дверь за ней закрылась, мы стояли в тишине.

— Она купила... — прошептала Дуняша. — Она купила воздух!

— Она купила эксклюзив, Дуня, — я взяла купюру, поцеловала её и спрятала в корсет.
— Мы в игре.

Миша зевнул:

— Мам, ну теперь-то мы прошли уровень? Я спать хочу.

— Прошли, сынок. Идем спать.
Я задула свечи, оставив сохнуть наше сладкое сокровище.

Месяц. У меня есть месяц. И кажется, я только что сделала первый шаг, чтобы не вылететь на снег.

Но главное — я представила лицо Белозерова, когда он узнает, что «блаженная вдова» стала поставщиком десертов для лучшего салона города.

О, это будет слаще любого зефира.

Глава 6 (Белозеров)

от лица Дмитрия Белозерова

Ноябрьский ветер на Волге — это не просто погода. Это зверь, который ищет любую щель в твоей одежде, чтобы впиться ледяными зубами в кожу.

Я запахнул бобровый воротник шубы плотнее, но холод пробирал даже через мех. Сани летели по тракту, взметая полозьями грязную снежную крошку. Игнат, мой кучер, что-то бурчал себе под нос, погоняя лошадей, а я мрачно смотрел на чернеющую стену леса, за которой скрывалась усадьба «Отрадное».

Какого черта я туда еду?

Этот вопрос я задавал себе всю дорогу от города.

У меня были дела. У меня был клуб, где ждали партнеры и горячий пунш. У меня, в конце концов, был теплый дом и покой.

Но вместо этого я трясся в ночи к женщине, которая должна мне пятьдесят тысяч и которую я обещал вышвырнуть на улицу через двадцать восемь дней.

«Проверка залога», — так я сказал себе.

Ложь. Залог никуда не денется. Дом не убежит, земля не испарится.

Меня тянуло туда другое. Непонятное, зудящее чувство, похожее на занозу, которую не вытащить. Я хотел увидеть, сломалась ли она. Сдалась ли? Или эта вспышка дерзости в гостиной была не случайностью, а... чем?

Впереди, на узком повороте дороги, показались огни встречного экипажа.

— Тпр-р-ру! — гаркнул Игнат, осаживая коней.

Мы едва разминувшись. Дорога была узкой, колеи глубокими. Свет моего фонаря выхватил герб на дверце проезжающей кареты. Золоченая лилия и медведь.

Марья Гавриловна.

Главная сплетница уезда, владелица соседнего имения и женщина, которая чуяла чужую беду за версту, как акула кровь.

Я проводил взглядом её карету.

Что она там делала? В такое время?

Марья Гавриловна не ездила с визитами вежливости к разоренным вдовам. Она ездила только туда, где можно чем-то поживиться.

Подозрение, холодное и липкое, шевельнулось в груди.

Неужели Пелагея начала распродавать имущество?

Фамильные драгоценности? Картины? Серебро?

Всё, что было в доме, по закону и по совести принадлежало мне как главному кредитору. Если она сейчас, под покровом ночи, сбывла этой старой перекупщице остатки роскоши за бесценок, чтобы купить себе билет до Петербурга...

Я почувствовал, как скулы сводит от злости.

— Гони! — крикнул я Игнату. — Живее!

Сани рванули с места.

«Ну, баронесса, — думал я, сжимая набалдашник трости. — Если я найду хоть один пустой сундук, ты пожалеешь, что не ушла в монастырь добровольно».

Усадьба встретила меня тишиной.

Окон в главном доме не светились. Темный, угрюмый фасад с облупившейся штукатуркой смотрел на меня пустыми глазницами. Лишь где-то сбоку, в районе кухонного флигеля, дрожал слабый желтый отсвет.

Ни лая собак, ни суеты слуг.

Словно вымерло всё.

Я выпрыгнул из саней, не дожидаясь, пока Игнат поможет.

— Жди здесь, — бросил я ему.

— Барин, может, с вами? Темно ж, не ровен час...

— Жди.

Я взбежал на крыльцо. Ступени скрипнули под сапогами, как старые кости.

Дверь была не заперта. Опять.

Эта беспечность выводила меня из себя. В доме — женщина и ребенок. Вокруг — леса, полные лихих людей, да и волки зимой подходят близко. А у неё — проходной двор.

Я толкнул тяжелую створку и шагнул в холл.

Я ожидал удара спертого, затхлого воздуха — запаха бедности, пыли и нетопленных печей, который запомнил с прошлого раза.

Но меня встретило нечто иное.

Запах.

Густой, теплый, одуряюще сладкий. Он накрыл меня с головой, как пуховое одеяло.

Пахло печеными яблоками. Карамелью. Ванилью. И чем-то неуловимо уютным — так пахнет в доме, где живет счастье, а не долги.

Я замер, втягивая носом воздух. Этот аромат сбивал с толку. Он обезоруживал. Моя злость, с которой я влетел в дом, начала таять, сменяясь недоумением.

Где я? В кондитерской на Невском?

Откуда в разоренном имении, где, по словам моего управляющего, мыши вешаются от голода, такие ароматы?

Я пошел на свет. Звуки голосов доносились снизу, со стороны кухни.

Я старался ступать тихо, хотя мои подбитые гвоздями сапоги грохотали по паркету. Но обитатели дома, кажется, были слишком увлечены, чтобы слышать.

Я спустился по каменной лестнице в цоколь. Дверь в кухню была приоткрыта.

Я остановился в тени, не спеша обнаруживать свое присутствие.

То, что я увидел, заставило меня забыть о цели визита.

Кухня, обычно мрачная, похожая на пещеру циклопа, сейчас сияла. Горели свечи — много, непозволительно много для нищих. Огромная печь гудела.

А посреди этого света и тепла царила она.

Пелагея.

Я привык видеть женщин её круга застывшими, как фарфоровые статуэтки. Руки на коленях, веер, пустой взгляд, вежливая улыбка.

Женщина, которую я видел сейчас, была живой.

Она стояла у стола, засучив рукава дорогого, но помятого платья. Её волосы, обычно уложенные в строгую причёску, выбились из шпилек и золотистыми прядями падали на лицо. На щеке белело пятно муки.

Она что-то делала — быстро, ловко, с какой-то хищной грацией.

Рядом крутился её сын, маленький наследник огромных долгов. Он сидел на столе (!), болтал ногами и облизывал большую деревянную ложку, жмурясь от удовольствия.

— Мам, это имба! — звонко сказал мальчик. Слово было странным, незнакомым, но интонация восторга была понятна.

— Не то слово, — рассмеялась Пелагея.

Её смех. Я никогда не слышал, чтобы она смеялась. Это был низкий, грудной звук, от которого у меня внутри что-то дрогнуло.

Она повернулась к служанке — той самой Дуняше, что смотрела на неё как на икону, — и сказала:

— Ну всё, выдыхай, Дуня. Мы это сделали. Мы продали воздух. Продали?

Слово-триггер вернуло меня в реальность.

Значит, я был прав. Марья Гавриловна приезжала не чай пить. Сделка состоялась.

Злость вернулась, но теперь она была смешана с горьким разочарованием. Я надеялся... на что? Что она окажется другой?

Я шагнул в полосу света.

— Добрый вечер, баронесса.

Эффект был мгновенным.

Дуняша взвизгнула и выронила полотенце. Мальчик перестал болтать ногами и замер с ложкой во рту.

Пелагея вздрогнула. Она резко обернулась. На секунду в её глазах мелькнул испуг, но она тут же взяла себя в руки. Спина выпрямилась, подбородок взлетел вверх.

Она инстинктивно завела руку за спину, словно пряча что-то в складках юбки. Деньги? Расписку?

— Дмитрий Игнатьевич, — её голос был ровным, но я слышал в нем напряжение. — Вы имеете привычку появляться без приглашения, как привидение? Или вы выломали дверь?

— Дверь была открыта, — я прошел в кухню, не снимая шубы. Мне хотелось выглядеть внушительно, давить на неё своим присутствием. — В вашем положении, сударыня, стоит запирается. Иначе могут вынести последнее. Хотя... — я обвел взглядом кухню, столы, уставленные какими-то досками, — кажется, вы уже начали выносить сами?

Она проследила за моим взглядом.

— О чем вы?

— Я встретил экипаж Марьи Гавриловны у ворот. Не пытайтесь лгать, Пелагея Андреевна. Что вы ей продали? Серебро? Картины? Я предупреждал: всё имущество описано. Любая сделка — это уголовное преступление. Каторга.

Я наступал на неё, шаг за шагом сокращая дистанцию. Я хотел увидеть страх. Хотел, чтобы она призналась, расплакалась, отдала деньги.

Но она не отступала.

Она стояла посреди своей кухни, перепачканная мукой, и смотрела на меня с вызовом. В её глазах плескался не страх, а... азарт?

— Вы ошибаетесь, Дмитрий Игнатьевич, — сказала она, и уголки её губ дрогнули в полуулыбке. — Я не продавала имущество. Я продавала... удовольствие.

Я остановился.

— Что?

— Удовольствие. Вкус. Эмоции. То, что нельзя описать в долговой книге, но за что люди готовы платить.

Она отступила на шаг в сторону, открывая обзор на длинный стол за своей спиной. Я посмотрел туда и моргнул.

Весь стол был заставлен деревянными досками. А на досках, ровными рядами, лежали сотни белоснежных полусфер. Они были похожи на маленькие снежные купола или на морские раковины.

От них и шел этот одуряющий аромат.

— Что это? — спросил я, чувствуя себя глупо.

— Это? — она взяла одну штучку двумя пальцами. — Это зефир. Французский десерт. Нежный, как облако, и сладкий, как грех. Марья Гавриловна заказала два пуда к своему салону. И, смею вас заверить, заплатила аванс. Честно заработанный.

Я смотрел на белый комочек в её пальцах. Потом на неё.

Она не врал.

Она, баронесса Воронцова, своими руками, на этой убогой кухне, сделала... это?

В голове не укладывалось.

— Вы? Сами? — вырвалось у меня. — У печи?

— А вы видите здесь наемных кондитеров? — усмехнулась она. — Жизнь заставит — не так раскорячишься, Дмитрий Игнатьевич. Это, знаете ли, мотивирует. Ваш таймер в голове. Тик-так.

Она подошла ко мне. Близко. Слишком близко.

Я почувствовал тепло, исходящее от её тела. Увидел капельки пота на висках, прилипшую прядь волос. Она была настоящей. Земной. И в то же время какой-то нездешней.

— Не верите? — прошептала она, глядя мне прямо в глаза. — Думаете, я способна только падать в обмороки и тратить деньги мужа?

Она подняла руку с зефиром к моему лицу.

— Попробуйте.

— Я не ем сладкого, — хрипло ответил я, хотя рот наполнился слюной.

— Боитесь? — в её голосе зазвучала насмешка. — Думаете, отравлено? Или боитесь признать, что я чего-то стою?

Это была провокация. Чистой воды.

Она играла со мной.

Я должен был развернуться и уйти. Но я стоял как привязанный.

Её пальцы были у моих губ. Тонкие, изящные, перепачканные сахарной пудрой.

И я сдался.

Я не стал брать зефир рукой — мои перчатки были в дорожной пыли. Я наклонился и, не отрывая взгляда от её глаз, укусил белое облако прямо с её руки.

Мои губы коснулись её кожи.

На долю секунды.

Но этого хватило, чтобы мир качнулся.

Это было словно разряд молнии. Я почувствовал, как она вздрогнула. Её зрачки расширились, став огромными, черными озерами.

Я откусил половину.

Вкус взорвался во рту. Это было не похоже на пастилу, которую продавали в лавках — тягучую и приторную. Это было... воздушно. Нежно. Кислинка антоновки сплеталась с ванилью, масса таяла на языке мгновенно, оставляя послевкусие свежести.

Но я думал не о вкусе.

Я думал о том, что только что коснулся губами её пальцев. И о том, что хочу сделать это снова.

Мы стояли так, замершие, посреди кухни. Между нами искрило так, что воздух казался плотным.

Я видел, как вздымается её грудь под тесным платьем. Слышал её прерывистое дыхание.

Она не отводила взгляд. В этой женщине была бездна. И я стоял на краю.
— Дядя Медведь! — звонкий детский голос разбил наваждение вдребезги.
Я отшатнулся, словно меня ударили.

Мальчик. Я забыл про него.

Николенька (или как там она его называла — Миша?) спрыгнул со стола и подошел к нам, вытирая липкие руки о штанишки.

— Вкусно, да? — спросил он с гордостью. — Это мы с мамой скрафтили! Я яйца нашел!
Я с трудом перевел дыхание, возвращая на лицо маску холодного спокойствия. Сердце колотилось как бешеное.

— Скрафтили? — переспросил я, цепляясь за странное слово, чтобы прийти в себя.

— Ну да. Сделали. Это наш стартап.

Я посмотрел на Пелагею. Она тоже отступила на шаг, щеки её залил густой румянец. Она опустила глаза, пряча смущение, и начала нервно оправлять фартук.

— У вас... талантливый помощник, — сказал я, и голос мой прозвучал глухо, чуждо.

— Да, — она кивнула, не поднимая глаз. — Мы команда.

Я проглотил остатки зефира. Сладость теперь казалась горькой.

Что я делаю? Я флиртую с должницей? Я теряю голову от запаха ванили и прикосновения пальцев?

Я — Дмитрий Белозеров. Меня называют «Медведем» за хватку. А я стою здесь и таю, как этот чертов сахар.

Нужно было брать себя в руки.

— Продукт... сносный, — произнес я сухо, стараясь, чтобы голос звучал безразлично.
— Марья Гавриловна известная сластена. Вам повезло.

— Это не везение, Дмитрий Игнатьевич. Это расчет.

— Не обольщайтесь, баронесса. Один заказ не спасет вас. Сколько она дала? Десять рублей? Двадцать? Вам нужно пять тысяч.

— Москва не сразу строилась.

— Но сгорела быстро, — парировал я.

Я обвел взглядом кухню, стараясь найти, к чему придраться, чтобы вернуть себе равновесие.

И нашел.

Камин.

Огонь в печи догорал. Рядом, на полу, лежало всего два жалких полена. Береста и гнилушки. Больше дров не было.

Я посмотрел на мальчика. Он был в этой нелепой огромной кофте, и я заметил, что он периодически шмыгает носом.

В кухне было тепло от готовки, но стены дома, я знал это, промерзли насквозь. К утру здесь будет ледник.

А топить им нечем.

Управляющий Кузьма, вор и пьяница, распродал всё. Я знал это, но не думал, что всё настолько плохо.

Они замерзнут.

Эта дерзкая женщина и её сын, который угощает меня сладостями, просто не переживут эту неделю, если ударят морозы.

А морозы обещали лютые.

— У вас дрова кончились, — констатировал я.

Пелагея проследила за моим взглядом. Вздернула подбородок.

— Мы заказали. Завтра привезут.

Ложь. Я видел это по её глазам. У неё только появились первые деньги, и она еще не успела их потратить. А нормальный воз дров стоит дорого, и везти его из леса нужно не один час.

— Ну-ну, — сказал я. — Надеюсь, ваш поставщик надежнее, чем ваши фантазии.

Мне нужно было уходить. Срочно. Иначе я наделаю глупостей. Например, предложу ей помощь. Или снова поцелую ей руку.

А этого делать нельзя. Она должна пройти этот путь сама. Или сломаться.

Я резко развернулся.

— Дверь запирайте, Пелагея Андреевна. — бросил я через плечо. — Сегодня я. Завтра могут прийти волки. Или кто похуже.

— Спасибо за заботу, — донеслось мне в спину. В её голосе был сарказм, но какой-то усталый.

Я вышел в холодную ночь.

Мороз ударил в лицо, отрезвляя.

Я сел в сани. Игнат тронул лошадей.

— Домой, барин?

Я молчал, глядя на темные окна второго этажа усадьбы. Там, в детской, сейчас, наверное, собачий холод.

Я посмотрел на свои руки. Снял перчатку. На указательном пальце осталось едва заметное пятнышко сахарной пудры.

Я слизнул его. Сладко.

Чертовски сладко.

— Игнат, — сказал я тихо.

— Ась?

— Завтра утром. Возьмешь подводу с березой. Сухой, колотой. Полную. И отвезешь в «Отрадное».

Игнат обернулся, вытаращив глаза.

— В «Отрадное»? Баронессе? Так ведь они ж должны нам...

— Делай, что сказано! — рыкнул я. — Сгрузишь у кухни. Скажешь... скажешь, это аванс.

— Аванс за что, барин?

— За яблоки! — придумал я на ходу первое, что пришло в голову. — Скажешь, я решил выкупить урожай антоновки из их сада. Будущее варенье. Понял?

— Понял, Дмитрий Игнатьевич. Как не понять.
Я откинулся на спинку, закрывая глаза.

Зачем я это делаю?

Это глупо. Это нерационально. Это, в конце концов, слабость.

Но я вспоминал её глаза в тот момент, когда мои губы коснулись её пальцев. В них было столько жизни, столько скрытого огня.

Пусть живут. Пусть пекут свой зефир.

В конце концов, мне просто интересно, чем закончится этот спектакль.

А дрова... Дрова — это мелочь. Инвестиция в развлечение.
— Поехали, — скомандовал я.

Сани рванули в темноту, увозя меня прочь от запаха ванили, который, казалось, въелся мне под кожу.

Глава 7

Меня разбудил не будильник и не нежный луч солнца, а грохот, от которого, казалось, содрогнулся фундамент усадьбы. Спросонья я решила, что это приставы начали штурм с тараном, и подскочила на кровати, путаясь в одеяле.

Сердце колотилось где-то в горле. Я схватила шаль, накинула её прямо на ночную сорочку и подбежала к окну. Стекло затянуло морозным узором, пришлось подышать на него и протереть ладонью проталину.

Во дворе творилось нечто странное.

Прямо у крыльца черного входа стояла огромная телега, запряженная мощным битюгом. Рядом, кряхтя и ругаясь в усы, орудовал мужик в тулупе — тот самый Игнат, кучер Белозерова. Он методично, поленом за поленом, сгружал на мерзлую землю березовые чурки.

Золотистая кора светилась на фоне серого снега. Дров было много. Очень много. Целая гора.

Я замерла, прижавшись лбом к холодному стеклу.

Вчера вечером, когда Дмитрий уходил, он бросил взгляд на пустой камин. Он ничего не сказал, не пообещал, только посмотрел своим тяжелым, темным взглядом. И вот, спустя несколько часов — гора тепла у моего порога.

Внутри что-то екнуло. Не то благодарность, не то удивление. В моем мире мужчины много говорили о заботе, но когда доходило до дела, у них вечно находились «обстоятельства». А этот купец, который грозился выгнать меня на мороз, молча прислал дрова.

— Мам? — сонно пробормотал Миша, высовывая нос из-под одеяла. — Там война началась?

— Нет, зайчик. Там гуманитарная помощь прибыла. Спи, я сейчас.

Я сунула ноги в валенки (нашла их в кладовке, старые, но теплые), накинула поверх сорочки пальто и выбежала на улицу.

Морозный воздух ударил в лицо, мгновенно прогоняя остатки сна. Пахло снегом и свежим спилом березы.

— Бог в помощь! — крикнула я, спускаясь с крыльца.

Игнат вздрогнул, обернулся. Увидев меня — растрепанную, в пальто нараспашку, — он смущенно стянул шапку.

— Здравия желаю, барыня. Вот, велено сгрузить.

— От кого дрова, Игнат?

Он отвел глаза, шмыгнул носом и буркнул, явно повторяя заученную фразу:

— Так от Дмитрия Игнатьича. Сказали — аванс это. За яблоки. Будущий урожай антоновки выкупают.

Я едва сдержала улыбку. Аванс за яблоки. В ноябре. Когда урожай давно собран (и сгнил), а новый будет только через год.

Красиво соврал. Чтобы не унижить подачкой, но и не признать, что ему есть дело до того, замерзну я или нет.

— Передай барину... — я запнулась, подбирая слова. — Передай, что яблоки будут отменные. Самые сладкие.

Игнат кивнул, ловко запрыгнул на облучок.

— Так и передам. Ну, бывайте, барыня. Дрова сухие, жаркие. Не замерзнете теперь. Он чмокнул губами, и телега, скрипя, покатила к воротам.

Я осталась стоять перед горой березовых чурок. Я провела рукой по шершавой коре.

— Спасибо, Медведь, — прошептала я в морозную тишину.

Эйфория от тепла — это прекрасно, но бизнес сам себя не сделает.

На кухне уже кипела работа. Дуняша, окрыленная вчерашним успехом (и тем, что в доме наконец-то тепло — мы растопили печи так, что можно было ходить в одной рубашке), драила медные тазы.

— Дуня, нам нужен транспорт, — заявила я, входя и потирая замерзшие руки. — На себе мы столько коробок не утащим, а Марья Гавриловна живет за три версты. Да и на ярмарку надо.

— Так, барыня, лошади-то нет. Кузьма, ирод, последнюю клячу увел, когда сбегал.

— А у соседей? В деревне?

— У брата моего, Федьки, кобыла есть. Старая, правда, Зорькой кличут. Но телегу потянет.

— Зови Федьку. И Зорьку.

Через полчаса наша «логистическая служба» была укомплектована.

Федька оказался долговязым подростком лет пятнадцати, с вихром соломенных волос и вечно голодными глазами. Он вошел в кухню, комкая шапку, и опасливо покосился на меня.

— Звали, барыня?

— Звала, Федор. Дело есть. Государственной важности.

Он вытаращил глаза.

— Нам нужно отвезти товар. Аккуратно, как хрусталь. Справишься?

— Справлюсь, чего ж... А заплатите чем?

Деловой парень. Мне такие нравятся.

— Едой, — сказала я и протянула ему «некондицию» — зефирку, которая получилась кривой. — Пробуй.

Федька недоверчиво взял белый комочек, понюхал. Потом сунул в рот целиком.

Его лицо вытянулось. Глаза блаженно закатились. Он жевал, и на его лице расплывалась глупая, счастливая улыбка.

— Едрит-мадрид... — выдохнул он. — Вкусно-то как! Словно облако жуешь!

— Вот именно. Будешь возить нас — будешь такое есть. И копейку дам. Идет?

— Идет! — гаркнул Федька. — Я мигом Зорьку запрягу! Я хоть на край света с такой едой!

Пока Федька возился с лошастью, мы занялись самым главным. Упаковкой.

Я понимала: продавать зефир в промасленной бумаге, как пирожки с капустой — это провал. Моя целевая аудитория — богатые купчихи и скучающие дворянки. Им нужен шик. Им нужна легенда.

Мы с Мишей полезли на чердак.

Здесь пахло пылью и старым деревом. Среди хлама, сломанных стульев и сундуков с изъеденными молью шубами, я нашла то, что искала.

Шляпные коробки.

Старые, круглые картонки, в которых когда-то привозили шляпки из Парижа. Некоторые были помяты, но штук десять вполне приличных я отобрала.

А еще — ленты. Бархатные, атласные, кружевные обрезки.

— Мам, это мусор, — скептически заметил Миша, чихая от пыли.

— Это винтаж, сынок. Сейчас мы сделаем из этого люкс.

Мы спустили добычу в гостиную.

Я вооружилась ножницами и клейстером (сварили из остатков муки). Мы обклеивали коробки чистой бумагой, украшали лентами. Получалось... мило. В стиле «рустик» или «прованс», как сказали бы в 21 веке.

— Теперь логотип, — скомандовала я. — Миша, твой выход. Ты же у нас художник.

— Я не художник, я гейм-дизайнер, — поправил сын, макая перо в тушь. — Что рисовать?

— Что-нибудь воздушное. Облачко. Или вензель.

Миша высунул язык от усердия. На крышках коробок начали появляться загадочные символы.

— Это что? — спросила я, разглядывая кривоватую закорючку.

— Это облако, а внутри молния. Типа энергия, — пояснил «дизайнер».

— Отлично. Креативно. А это?

— А это буква «П». Пелагея. И «В». Воронцова. Как бренд. Получалось криво, но с душой. Ручная работа, как ни крути.

— Как назовем? — спросила Дуняша, благоговейно завязывая бантик на готовой коробке. — «Сладости от барыни»?

— Скучно, — я покачала головой. — Нужно что-то интригующее. Французское.

Я вспомнила, как зефир тает во рту. Легко, едва касаясь.

— «Воздушный поцелуй», — произнесла я. — Baiser Aérien. Звучит?

— Срамота какая, — хихикнула Дуняша, краснея. — Поцелуй...

— Самое то для скучающих купчих, — отрезала я. — Продано. К обеду партия была готова.

Две большие нарядные коробки для Марьи Гавриловны (спецзаказ). И десяток поменьше — для ярмарки. Плюс корзина с «пробниками» — маленькими кусочками для дегустации. Настало время инструктажа.

Я критически осмотрела Дуняшу. В своем сером платке и старом тулупе она выглядела как... ну, как крепостная. Для продажи элитного десерта это не годилось.

— Снимай, — скомандовала я.

— Что снимать, барыня? — испугалась она.

— Тулуп этот драный.

Я сбегала в спальню и принесла свою шаль — теплую, шерстяную, с красивым узором. И муфту (немного потертую, но все еще приличную).

— Надень. И голову подними. Ты не милостыню просить идешь. Ты — представитель торгового дома Воронцовых.

Дуняша выпрямилась, поглаживая муфту. В её глазах появился блеск.

— А что говорить-то, барыня? Вдруг спросят, почему так дорого? (Я назначила цену в 50 копеек за маленькую коробку — бешеные деньги, булка хлеба стоила копейки три).

— Слушай внимательно и запоминай, — я взяла её за плечи. — Главный секрет маркетинга: продавай не товар, а мечту.

— Мечту?

— Да. Ты говоришь им так: «Это не просто сладость. Это рецепт французских придворных дам. От него не толстеют, а наоборот — талия становится тоньше, а кожа — белее».

— Да врут поди! — ахнула Дуняша. — От сахара-то?

— Это зефир, Дуня. Там яблоки. Пектин. Полезно для кожи. Почти правда. Главное — уверенность. Видишь богатую купчиху — иди к ней. Мужиков обходи, они не поймут. Улыбайся. И давай пробовать. Как только кусочек в рот попадет — клиент наш. Поняла?

— Поняла, матушка. «От талии худеют, от кожи белеют».

— Сойдет, — махнула я рукой. — С богом.

Я стояла на крыльце, кутаясь в пальто, и смотрела, как телега, груженная нашим сладким будущим, выезжает за ворота. Федька гордо нахлестывал Зорьку, Дуняша сидела в обнимку с коробками, как королева на троне.

— Удачи, команда, — шепнула я.

Ожидание — это самая страшная пытка.

Когда ты сам что-то делаешь — руки заняты, голова работает. А когда ты отправил свое детище в мир и ждешь результата... время превращается в липкую, тягучую патоку.

Мы с Мишей остались одни в огромном доме.

Было тепло. Дрова Дмитрия горели жарко, весело потрескивая в каминах. Я впервые за эти дни сняла пальто в помещении, оставшись в платье.

Но покоя не было.

Я ходила из угла в угол. Поправляла шторы. Протирала пыль. Смотрела на часы.

Прошел час. Два. Три.

— Мам, ты протрешь дырку в полу, — заметил Миша. Он сидел на ковре и строил замок из остатков дров. — Они же на телеге, а не на Феррари.

— Знаю, — я села в кресло, заставила себя взять книгу. Французский роман. Буквы прыгали перед глазами. — Просто... а вдруг никто не купит? Вдруг нас засмеют? Вдруг полиция прогонит?

— Не ссы, мам, — авторитетно заявил сын. — Товар топовый. Я бы купил. А Федька вообще за него душу продаст.

Чтобы отвлечься, мы начали играть в слова.

— Арбуз, — сказал Миша.

— Зонт, — ответила я.

— Тик-Ток... ой, нет, на «Т». Танк.

— Карета.

— А почему дядя Медведь нам дрова прислал? — вдруг спросил Миша, ставя очередную чурку на башню. — Он же злой босс?

Вопрос застал меня врасплох.

— Он... сложный босс, — уклончиво ответила я. — Иногда даже у злых боссов бывают добрые намерения.

— Он на тебя так смотрел, — протянул Миша хитро.

— Как?

— Как кот на сметану. Или как я на новый скин в Фортнайте.

Я поперхнулась воздухом.

— Тебе показалось. Он просто проверял залог.

— Ага, конечно. Залог он проверял губами, — пробормотал сын себе под нос, но я услышала.

Щеки вспыхнули. Сцена на кухне, вкус пудры, его взгляд...

«Не думай об этом, Полина. Он прислал дрова, потому что не хочет, чтобы его имущество отсырело. Точка».

Солнце начало клониться к закату. Зимний день короток.

Тени в углах гостиной сгустились.

Я снова подошла к окну. Пустая дорога.

Внутри начал подниматься холодный червячок страха. А вдруг их ограбили? Федька мальчишка, Дуняша девка. Деньги, товар... Времена-то дикие.

— Господи, пусть они вернутся, — прошептала я. — Плевать на деньги, лишь бы живые. И тут я услышала.

Далекий, но отчетливый скрип полозьев (снег прихватило настом). Фыркание лошади.

Я вылетела на крыльцо, забыв накинуть шаль.

В сумерках к воротам подъезжала наша телега.

Федька правил, размахивая кнутом. Дуняша сидела рядом, но уже не чинно, а как-то расхристанно, платок сбился набок.

Сердце упало.

Корзины. Я видела корзины в кузове.

Они стояли пустые. Совсем пустые.

Ни одной коробки.

Они подъехали к крыльцу. Зорька устало опустила голову, от ее боков валил пар.

Я сбегала по ступеням, хватаясь за перила.

— Ну? — голос сорвался. — Что случилось? Полиция? Отобрали?

Дуняша слезла с телеги. Лицо у неё было красным, глаза горели каким-то шальным, безумным огнем.

Она молча подошла ко мне. Расстегнула муфту. Достала тяжелый полотняный мешочек.

И высыпала его содержимое прямо на перила крыльца, в снег.

Дзынь!

Монеты.

Серебряные рубли. Полтинники. Медяки.

Целая гора монет сверкнула в свете фонаря, который держал выбежавший следом Миша. Я смотрела на деньги и не могла поверить.

— Это... всё? — прошептала я.

— Всё! — выдохнула Дуняша и вдруг расхохоталась. Нервно, взхлеб. — Всё раскупили, барыня! Подчистую! Даже крошки смели!

Мы вошли в дом.

Дуняша, сбиваясь и размахивая руками, рассказывала, как они «брали» рынок.

— Сначала-то нос воротили! Ходят, смотрят, фыркают: «Чего это в коробках? Коты в мешке?». А я им, как вы учили: «Парижский рецепт! Для талии!». Одна купчиха, толстая такая, вся в перстнях, подошла. «Ну-ка, — говорит, — дай отведать». Я ей кусочек на палочке дала.

Дуняша сделала паузу, наслаждаясь моментом.

— Она как съела — так и замерла. Глаза закрыла. А потом как гаркнет: «Дайте две! Нет, три коробки!». И тут началось, барыня! Налетели, как галки! Толкаются, деньги суют! Друг у друга коробки рвут! Я только успевала сдачу давать!

— А Марья Гавриловна? — спросила я, пересчитывая деньги дрожащими пальцами.

— О, эта сама вышла! Лакей забрал коробки, она вам письмо передала.

Дуняша протянула мне надушенный конверт. Я вскрыла его. Внутри лежала еще одна купюра в десять рублей и записка: «C'est magnifique! Жду еще пять коробок к среде. Мои гости в восторге».

Итого...

Я сложила столбики монет.

Двадцать три рубля сорок копеек.

Плюс двадцать от соседки (аванс и доплата).

Сорок три рубля.

За один день.

Это было... невероятно. Корова стоила рублей пять-семь. Мы за день заработали на стадо коров.

Конечно, до пяти тысяч Белозерова было как до Луны пешком. Но это было начало. Реальное, осязаемое начало.

— Мы богаты! — заорал Миша, прыгая вокруг стола. — Мы олигархи!

Федька стоял в дверях, скромно переминаясь.

— Федор, — я подошла к нему и протянула целый рубль. — Это тебе. За смелость и отличную езду. Ты теперь наш штатный логист.

Парнишка чуть не упал.

— Рубль?! Целковый?! Барыня, да я... да я Зорьку овсом кормить буду! Да я...

— Иди, отдыхай. Заслужил.

Когда эйфория немного улеглась, и мы пили чай (настоящий, с сахаром!), Дуняша вдруг посерьезнела.

— Только вот что, барыня... Одно мне не понравилось.

— Что? — я напряглась.

— Там, на ярмарке... Мужичок один крутился. В картузе, глазки бегающие, рыжий такой. Не покупал ничего, только смотрел. Всё выпрашивал: кто печет, да где берем, да много ли у нас запасов.

— А ты что?

— А я ему: «Не твоего ума дело, проходи мимо». Но он злой какой-то был. И потом, когда мы уезжали, я видела — он за нами следил до самой заставы. Уж не от конкурентов ли шпион? Я похолодела.

Рынок 19 века — это не супермаркет. Это джунгли. Местные булочники и кондитеры держат территорию. Если какая-то выскочка-баронесса начнет отбивать у них богатых клиентов...

— Завтра ворота запереть, — сказала я твердо. — И Федьке скажи, пусть с собаками по периметру пройдет. Успех, Дуня, рождает не только деньги. Он рождает зависть. Я посмотрела на горку серебра. Она тускло блестела в свете свечи.

Первый бой выигран. Но война только начинается.

И где-то там, в темноте, за нами уже наблюдают чьи-то недобрые глаза.

Но сейчас, в теплом доме, рядом с сыном и верными людьми, я чувствовала себя непобедимой.

— Спать, команда, — скомандовала я. — Завтра варим новую партию. У нас заказ на среду.

И, засыпая в своей постели (теплой!), я думала не о конкурентах. И даже не о долге.

Я думала о том, что завтра утром снова увижу дрова во дворе. И что, возможно, Медведь не такой уж и страшный зверь, если его правильно... прикормить.

Глава 8

Если бы неделю назад кто-то сказал мне, что я буду плакать от счастья при виде куска сырой говядины, я бы посоветовала этому человеку сменить психотерапевта. Но сейчас, стоя у кухонного стола и глядя на темно-красный, с мраморными прожилками отруб, который привез Федька с утреннего рынка, я чувствовала себя так, словно выиграла в лотерею.

— Это что, рибай? — с благоговением спросил Миша, тыкая пальцем в мясо.

— Это, сынок, просто корова, которая жила счастливой жизнью в соседней деревне, — я вытерла руки о передник. — Но сегодня у нас будет пир. Настоящий бульон. И котлеты.

— Котлеты... — мечтательно протянул ребенок. — Без комочков?

— Рубленые. Сочные. С лучком.

Вчерашний успех вскружил голову, но я, как опытный предприниматель, знала: эйфория — враг бизнеса. Деньги жгут карман. Их хочется потратить на глупости — на кружева, на сладости, на то, чтобы почувствовать себя человеком.

Но я потратила их на стратегию.

Половина выручки ушла на закупку сырья. Сахар (еще одна голова!), яйца (договорились с соседкой-крестьянкой на регулярные поставки), мука. Производство останавливать нельзя.

Вторую половину я потратила на выживание. Мясо. Масло. И, о боги, мыло.

Я держала в руках заветный брусок в красивой обертке. «Брокеръ и Ко». Пахло оно пронзительно, цветочно, немного резко, но для меня это был запах цивилизации.

— Дуняша, грей воду! — скомандовала я. — Сегодня у нас банный день. И плевать, что дрова экономить надо. Я не выйду в свет, пока не смою с себя этот... девятнадцатый век.

Мытье в тазу посреди кухни — то еще удовольствие, но когда ты неделю обходилась ледяной водой из кувшина, горячая вода кажется спа-процедурой. Я терла себя жесткой мочалкой до красноты, смывая запах гари, пыли и страха. Мыла голову, наслаждаясь густой пеной.

Потом мыла Мишу, который визжал и пытался пускать пузыри.

Когда мы, чистые, распаренные, сытые (котлеты удались на славу, Федька съел четыре штуки и поклялся мне в вечной верности), сидели в теплой гостиной, я впервые за эти дни посмотрела на календарь.

Воскресенье.

День, когда благородные (и не очень) жители города Спасска надевают лучшее и идут к обеду.

— Нам нужно в церковь, — сказала я, расчесывая мокрые волосы сына.

Дуняша, убирающая со стола, замерла.

— Барыня, может, не надо? — осторожно спросила она. — Люди болтают...

— Что болтают?

— Разное. Что вы умом тронулись. Что сами торгуете. Что... — она покраснела, — с нечистым знаете, раз такие сладости из гнилушек делаете.

Я усмехнулась. Средневековье во всей красе. Успешная женщина — либо ведьма, либо любовница сатаны.

— Вот поэтому мы и пойдем, Дуня. Если мы спрячемся, они решат, что мы боимся или стыдимся. А нам стыдиться нечего. Мы честные предприниматели.

Я подошла к зеркалу.

Из глубины стекла на меня смотрела женщина с бледным, но чистым лицом. Волосы, вымытые «Брокаром», блестели золотом. Но вот одежда...

Черное траурное платье Пелагеи висело на стуле, как шкура убитого ворона. Унылое, закрытое, пахнущее нафталином даже после проветривания на морозе.

— М-да, — протянула я. — В таком виде только на собственные похороны.

— Другого нет, матушка, — вздохнула Дуняша. — Вы ж всё в сундуки попрятали, когда барин помер.

— Ничего. Сейчас мы проведем ребрендинг.

Я достала шкатулку с рукоделием. Нашла кусок белоснежного батиста (остатки былой роскоши) и кружево, которое мы не пустили на коробки.

Следующий час прошел под шипение тяжелого угольного утюга.

Я отпоролa старые, засаленные манжеты. Пришила новые — широкие, хрустящие от крахмала. Сделала высокий белый воротничок-стойку, который сразу придал платью строгость, но и какую-то гусарскую элегантность.

Поменяла пуговицы (нашла перламутровые, срезанные с летнего платья).

Вместо уродливого вдовьего чепца я достала маленькую шляпку-таблетку с вуалью. Вуаль была порвана, но я аккуратно задрапировала её, заколов брошью.

Я надела платье. Затянула корсет (уже привычно, хотя ребра все еще протестовали). Посмотрела в зеркало.

Это была не забитая вдова. Это была «железная леди» в трауре. Строго. Стильно. Дорого.

— А вы красавица, барыня, — ахнула Дуняша. — Прямо как картинка из журнала.

— Спасибо, Дуня. Теперь — Миша.

Я повернулась к сыну. Он сидел на ковре и пытался натянуть на кота (который вернулся, почуяв запах мяса) свой носок.

— Михаил! — строгий тон матери из 21 века сработал мгновенно. Кот был отпущен.

— Мы идем в логово врага, сынок. Это спецмиссия. Уровень сложности — «Хардкор».

Миша тут же подобрался.

— Враги будут стрелять?

— Хуже. Они будут шептаться и смотреть. Твоя задача: активировать режим «Стелс».

— Это как?

— Это значит: молчать, делать умное лицо, держать меня за руку. Если кто-то заговорит — вежливо кивать. Никаких слов про «ботов», «Тик-Ток», «Вайфай» и прочее. Мы — аристократы. Мы говорим только «Да, сударыня» и «Нет, сударь». Понял?

— Понял. Режим «Граф Дракула» активирован.

— Просто граф, Миша. Без Дракулы.

Федька запряг Зорьку в сани. Лошадь, наевшаяся овса (на который мы тоже потратили рубль), выглядела бодрее. Сани мы вычистили, постелили внутрь ковер.

Мы выехали за ворота.

День был ослепительный. Солнце, мороз, искрящийся снег. Спасск-на-Волге в такие дни выглядел как пряничная открытка. Золотые купола церквей горели огнем, дым из труб поднимался столбами в синее небо.

Колокольный звон плыл над городом — густой, бархатный, торжественный.

Но по мере того, как мы приближались к Соборной площади, красота отступала на второй план.

Народу было много. Купцы в лисьих шубах, чиновники в шинелях, дамы в бархате и соболях.

Наши скромные сани (хоть и чистые) смотрелись здесь как «Лада Калина» на парковке у «Москва-Сити».

Федька робел, жался к обочине, пропуская богатые экипажи.

— Голову выше, Федор! — шикнула я ему в спину. — Мы не хуже их. Мы просто... экономные.

Мы остановились у церковной ограды.

Я вышла из саней, расправила складки платья. Взяла Мишу за руку.

И тут я почувствовала это.

Взгляды.

Сотни глаз повернулись в нашу сторону. Разговоры стихли, сменившись гулом шепотков. Это было физически ощутимо — словно воздух стал плотным и колючим.

— Гляди-ка, Воронцова... Явилась.

— И не стыдно ей?

— Говорят, сама на рынке стояла, булками торговала!

— Да врут! Не может баронесса до такого опуститься. Наверное, служанку посылала, а сама деньги считала.

— А вид-то какой! Гордая, ишь ты! Платье перелицевала, думает, не видно?

Слова жалили, как осы. Мне захотелось втянуть голову в плечи, спрятаться за вуалью, убежать обратно в свои сани. Комплекс самозванки, который жил во мне в 21 веке, поднял голову и зашипел: «Куда ты лезешь? Ты здесь чужая. Тебя сейчас раздавят».

Я сжала руку Миши. Он посмотрел на меня снизу вверх, серьезный, насупленный.

— Мам, они на нас смотрят, как на нубов, — шепнул он.

— Пусть смотрят, — ответила я одними губами. — Улыбайся, Миша. Улыбайся и маши... то есть, просто иди прямо.

Мы двинулись к паперти.

Толпа расступалась, образуя коридор. Никто не здоровался. Знакомые (а Пелагею тут знали все) вдруг начинали увлеченно разглядывать небо или собственные сапоги. Социальный бойкот. Холодная война по-губернски.

У самого входа, перекрывая путь к дверям храма, стояла группа дам. Яркие шубки, муфты, перья на шляпках. Центром этой композиции была она.

Аглая Бельская.

Дочь предводителя дворянства выглядела так, словно сошла со страниц модного журнала. Бархатная шубка цвета бордо, отороченная соболем, шапочка с кокетливым пером, румяные щеки.

Она увидела меня и расцвела в улыбке. В той самой улыбке, которой обычно встречают бедную родственницу, пришедшую просить денег.

— Пелагея Андреевна! — прозвенел её голос, перекрывая гул толпы. — Какая встреча! А мы уж гадали, почтите ли вы нас своим присутствием. Или у вас... — она сделала паузу, и её свита захихикала, — срочный заказ?

Я остановилась в двух шагах от неё.

— Доброе утро, Аглая Петровна. Бог милостив, нашла время для молитвы.

— Ох, какая вы... героическая, — Аглая демонстративно потянула носом воздух. — Но, право, mon cher, вы так рискуете! Говорят, запах кухни так въедается в волосы и платье... Не боитесь, что в храме подумают, будто вы пришли не молиться, а пирожками торговать?

Свита прыснула в кулачки. Какой-то молоденький офицер рядом ухмыльнулся.

Это был удар ниже пояса. Публичное унижение. Она намекала, что я — кухарка. Что мое место — у черного хода.

Миша дернулся, хотел что-то сказать (наверное, про «бота»), но я сжала его ладонь, вызывая к молчанию.

Я выдержала паузу. Взглянула на Аглаю спокойно, чуть склонив голову набок.

— Запах, Аглая Петровна? — переспросила я, делая вид, что удивилась. — Странно. Я чувствую лишь аромат ладана. И еще... — я чуть приблизилась к ней, — запах зависти. Он, знаете ли, очень резкий. Хуже, чем пригорелая каша.

Улыбка сползла с лица Аглаи.

— Что вы себе позволяете?! — взвизгнула она, теряя светский лоск. — Вы... торговка! Вы позорите наш круг! Скоро вы со своими крепостными свиней пасти будете, чтобы выжить!

Толпа замерла. Скандал! На паперти!

Я улыбнулась. Холодно. Вежливо. Как улыбаются акулы перед тем, как откусить ногу.

— Лучше пахнуть ванилью и честным трудом, мадемуазель, чем долгами и злословием. А насчет свиней... Не беспокойтесь. В нашем обществе свиней и так хватает, — я скользнула взглядом по её свите, по ухмыляющемуся офицеру, по самой Аглае. — Даже в шелках и соболях.

В тишине кто-то громко хмыкнул. Кажется, какой-то старый купец.

Аглая побагровела. Она открыла рот, но не нашла, что ответить. Её публичная порка обернулась против неё самой.

— Прошу простить, — я кивнула ей, как королева — служанке. — Служба начинается. Не смею задерживать.

Я прошла мимо неё, гордо подняв голову, увлекая за собой Мишу. Толпа расступилась, но теперь в глазах людей я видела не только презрение. Я видела удивление. И даже тень уважения.

«Зубастая», — прошелестело в толпе.

Мы вошли в храм.

Полумрак, запах воска и ладана, мерцание сотен свечей. Хор грянул «Херувимскую». Звук поднимался под купол, обволакивая, успокаивая.

Здесь было теплее, чем на улице, но спину мне все равно холодило.

Женщины стояли слева. Я нашла свободное место у колонны, подальше от первых рядов, где толпились знатные дамы. Встала, перекрестилась. Миша, умница, повторил за мной, серьезно глядя на иконостас.

Я пыталась молиться. Просила сил. Просила защиты для сына. Просила ума, чтобы не наделать глупостей.

Но чувствовала: на меня смотрят.

Не просто любопытные взгляды прихожан.

Один взгляд. Тяжелый. Горячий. Ощутимый физически, как прикосновение к затылку. Я медленно повернула голову направо, через проход, где стояли мужчины.

Там были мундиры, сюртуки, кафтаны. Лица, бороды, спины.

Но я нашла его сразу.

Он стоял чуть впереди, возле клироса. Высокий, выше всех на голову. В дорогой шубе, расстегнутой на груди, под которой виднелся темный сюртук.

Дмитрий Белозеров.

Он не молился. Он не смотрел на алтарь.

Он смотрел на меня.

Наши взгляды встретились через головы людей, через дым кадило.

Я ждала, что он усмехнется. Что в его глазах будет то же презрение, что и у Аглаи. Ведь он видел сцену на входе. Он всё слышал.

Но он не смеялся.

Его лицо было серьезным, почти мрачным. Темные глаза смотрели внимательно, изучающе. Так смотрят не на куклу, которую собираются выбросить. Так смотрят на противника, который нанес неожиданный удар. Или на женщину, которая вдруг стала... интересной.

Он чуть прищурился, заметив, что я смотрю.

И едва заметно — так, что это видела только я — кивнул.

Это не было приветствием. Это было признанием.

«Один — ноль в твою пользу, баронесса», — читалось в этом кивке.

И еще там было что-то... про дрова? Про тепло?

«Ты не замерзла?» — спрашивали его глаза.

Меня бросило в жар. Щеки вспыхнули. Я поспешно отвернулась к иконе, чувствуя, как сердце колотится о ребра корсета.

Зачем он это делает? Почему помогает, но держится врагом?

Это игра? Для него — да. Развлечение скучающего миллионера.

А для меня — жизнь.

«Не обольщайся, Полина, — сказала я себе. — Он хищник. Медведь. Если он не съел тебя сразу, значит, он просто сыт. Или хочет поиграть с едой».

Служба закончилась.

Мы выходили из церкви в числе первых, не желая снова сталкиваться с Аглаей.

На улице снова ослепило солнце.

Миша выдохнул облачко пара.

— Мам, — шепнул он, когда мы спускались по ступеням. — Ты ту тетку уделала. Чисто фаталити. Респект.

Я сжала его руку, сдерживая нервный смешок.

— Спасибо, напарник. Но это был только первый раунд. Босс еще впереди.
Мы сели в сани. Федька чмокнул губами, Зорька тронулась.

Я откинулась на спинку, чувствуя невероятную усталость. Словно я разгрузила вагон с углем, а не постояла час в церкви.

Но это была приятная усталость. Усталость победителя.

Общество меня не съело. Я огрызнулась, и они отступили.

У меня есть деньги. У меня есть бизнес. У меня есть дрова от «тайного поклонника».

Жизнь налаживается.

Я закрыла глаза, подставляя лицо зимнему солнцу.

Я не видела, как из-за колонны церковной ограды отделилась неприметная серая фигура. Человек в потертом картузе и пальто, сливающимся с грязным снегом.

Он достал из кармана маленький блокнот и огрызок карандаша.

Послюнявил грифель.

И корявым почерком записал:

«Воскресенье. Баронесса была в храме. Одерзостила дочь предводителя. Вид имеет гордый, не смиренный. С купцом Белозеровым переглядывалась. Ребенок тих, но одет странно. Докладываю по всей форме...»

Человек спрятал блокнот, надвинул картуз на глаза и растворился в толпе, словно серая тень.

Я ехала домой, мечтая о чашке чая и новой партии зефира, и не знала, что механизм, запущенный моим «любимым» дядюшкой, уже начал свой скрипучий, смертоносный ход.

Глава 9

Глава 9. Письмо из ада

Понедельник в моем прошлом — или будущем? — мире всегда считался днем тяжелым. Днем планерок, дедлайнов и бесконечного кофе, который к обеду начинал горчить на языке. Но здесь, в заснеженной губернии 1890 года, этот понедельник начался как лучший день в моей новой жизни.

На кухне «Отрадного» кипела работа. И это была не метафора — в огромных медных тазах действительно кипело яблочное пюре, булькал сироп, а воздух был таким сладким и плотным от ванили, что его, казалось, можно было резать ножом и намазывать на хлеб.

— Федька, дров подкинь! — скомандовала я, орудуя деревянной лопаткой. — Температуру теряем!

— Сей момент, барыня! — гаркнул Федька, с грохотом загоняя в топку березовое полено.

Этот парень, вкусивший сладкой жизни (в прямом смысле), теперь работал за троих. Он колот дрова, таскал воду и смотрел на меня с таким обожанием, с каким, наверное, оруженосцы смотрели на рыцарей Круглого стола.

Дуняша стояла у стола, выстеленного промасленной бумагой, и ловко скручивала кульки для отсадки.

— Барыня, а для Марьи Гавриловны в розовые коробки класть или в голубые?

— В розовые, Дуня. Она дама романтичная, любит, чтоб «шарман». И ленты пошире возьми, бархатные.

Я вытерла пот со лба. Мой бизнес-план, набросанный угольком на обрывке оберточной бумаги, начинал работать.

Вчерашний успех в церкви не прошел даром. Уже сегодня утром к заднему крыльцу прибегал посыльный от жены городничего — просил «коробочку того самого». Потом заезжала приказчица из модной лавки.

Сарафанное радио — величайшее изобретение человечества, работающее без электричества и интернета.

Мы были в плюсе.

В моей тетрадке (я нашла старую амбарную книгу мужа и вырвала оттуда страницы с карточными долгами) столбик «Доходы» наконец-то превысил столбик «Расходы».

— Так, — бормотала я, помешивая сироп. — Если продадим партию в среду, к выходным купим еще сахара. А к весне, глядишь, и корову справим. Миша просит молока.

Миша сидел тут же, на широком подоконнике, и болтал ногами. Перед ним лежала стопка нарезанных картонок — будущие ярлыки.

— Мам, я придумал новый логотип, — заявил он, показывая мне рисунок. — Смотри. Это медведь. Он ест зефир.

На картонке был изображен зверь, отдаленно напоминающий хомяка-переростка, который держал в лапах белый шар.

— Почему медведь? — улыбнулась я, пробуя сироп на «нитку».

— Ну... это наш тотем. Дядя Дима же Медведь? Он нам дрова дал. Значит, он теперь спонсор. Надо его на мерч поместить.

Я чуть не поперхнулась.

— Миша, если Дмитрий Игнатьевич увидит себя на коробке с зефиром в виде хомяка, он нас не просто выселит, он нас на каторгу сошлет.

— Не сошлет, — уверенно заявил сын. — Он на тебя вчера в церкви смотрел, как влюбленный нуб.

— Миша!

— Что? Я правду говорю. Глаза такие... стеклянные.

Я отвернулась к печи, чувствуя, как предательски краснеют щеки.

Не думай о нем, Полина. Медведь сыт, вот и добрый. Пока.

Главное — мы выживаем. Мы справляемся. Сами.

Идиллию разрушил звук, от которого у меня внутри всё оборвалось.

Лай собак.

Не ленивое брехание наших прикормленных дворняг, а яростный, захлебывающийся гавканье, переходящее в визг. Так собаки лают на чужого, от которого пахнет бедой.

Следом раздался тяжелый, властный стук в парадную дверь.

Бум. Бум. Бум.

Словно забивали гвозди в крышку гроба.

На кухне стало тихо. Федька замер с поленом в руках. Дуняша побледнела, выронив ленту.

— Кого нелегкая принесла? — прошептала она. — Барин Белозеров?

— Нет, — я вытерла руки о передник. — Дмитрий Игнатьевич не стучит. Он входит как хозяин.

Стук повторился. Настойчивый, злой.

— Дуня, открой, — голос мой звучал спокойно, но сердце забилося где-то у горла. — Федька, будь здесь. Пригляди за Мишей.

Я пошла следом за Дуняшей, остановившись в тени коридора. Мне нужно было видеть, кто там, прежде чем выходить.

Горничная отодвинула засов. Тяжелая дубовая дверь со скрипом отворилась.

На пороге, на фоне слепящего снега, стоял человек.

Не почтальон. Не купец.

Лакей.

Высокий, в дорогой ливрее темно-зеленого сукна с золотыми галунами. На голове треуголка. Лицо каменное, презрительное, с тонкими, брезгливо поджатыми губами.

Я узнала цвета. Зеленый и золото. Герб Воронцовых.

Это был человек Дядюшки.

— Баронесса Пелагея Андреевна дома? — спросил лакей, даже не подумав снять шапку. Он смотрел на Дуняшу как на грязь под ногами.

— Д-дома... — пролепетала Дуняша, пятясь.

— Передай ей. Лично в руки. Ответ не требуется. Велено исполнять.

Он протянул плотный конверт из желтоватой бумаги, запечатанный сургучом. Дуняша взяла его дрожащими пальцами, словно это была ядовитая змея.

Лакей развернулся на каблуках, четко, по-военному, и пошел к ожидавшей у ворот черной карете.

Дверь захлопнулась.

Я вышла из тени. Ноги были ватными.

— Давай сюда, — сказала я.

Дуняша протянула мне письмо. Оно было тяжелым. Плотная бумага, запах дорогих духов и чего-то еще... опасности.

На сургучной печати был оттиск: два льва держат щит. Герб графа Аркадия Петровича Воронцова.

Я вернулась на кухню. Села на лавку у окна. Солнце светило ярко, но мне вдруг стало холодно, так холодно, что даже жар от печи не спасал.

— Мам? — Миша слез с подоконника и подошел ко мне. — Кто это был? Плохие новости?

— Сейчас узнаем, — я сломала печать. Сургуч хрустнул, рассыпавшись красными крошками, похожими на запекшуюся кровь.

Я развернула лист.

Почерк графа был витиеватым, с острыми, колючими буквами. Строки прыгали перед глазами, но смысл доходил до сознания пугающе ясно.

«Милостивая государыня Пелагея Андреевна!

До меня дошли возмутительные, позорящие честь нашего рода слухи. Мне стало известно, что вы, забыв о своем положении, титуле и вдовьем трауре, опустили до постыдного торга на городском рынке, выставив себя на посмешище перед чернью и купечеством.

Более того, ваше поведение в храме Божьем, ваша дерзость в отношении уважаемых членов общества (семьи Бельских) и слухи о вашей противоестественной связи с купцом Белозеровым переполнили чашу моего терпения.

Я, как глава рода и законный опекун внучатого племянника моего, Николая, не могу позволить, чтобы наследник титула воспитывался в атмосфере разврата, нищеты и безумия. Ваши действия подтверждают опасения врачей о помрачении вашего рассудка после болезни.

Сим уведомляю: в четверг, сего месяца, я прибуду в имение «Отрадное» с комиссией Дворянской Опекы и губернским врачом для освидетельствования вашего состояния. Будьте готовы передать ребенка и документы на имение.

Николай будет отправлен в мое поместье под надзор гувернеров. Вам же, ради спасения вашей души и усмирения гордыни, мною определено место в Свято-Троицком женском монастыре, где в тишине и молитве вы сможете замолить грехи свои и супруга.

Сопротивление бесполезно и лишь усугубит вашу участь.

Граф А.П. Воронцов»

Лист выпал из моих рук и спланировал на пол.

В кухне стояла тишина. Только дрова трещали в печи, да булькал забытый сироп.

Четверг.

Сегодня понедельник.

У меня есть два дня. Три ночи.

А потом у меня заберут всё.

Не деньги. Не дом. Плевать на дом!

У меня заберут сына.

— Мам? — голос Миши дрогнул. — Почему ты такая белая? Что там написано?

Я смотрела на него, на его светлые кудряшки, на перемазанный тушью нос, и чувствовала, как пол уходит из-под ног.

Это не 21 век.

Здесь нет ювенальной юстиции, которая защищает права матери. Нет судов по правам человека. Нет телефонов доверия.

Здесь женщина — никто. Приложение к мужчине. Если мужа нет — она принадлежит роду. Опекуну.

Граф Воронцов — богатый, влиятельный, уважаемый человек. Я — нищая вдова с репутацией сумасшедшей (спасибо моим «бизнес-идеям» и «дерзости»).

Любой суд встанет на его сторону. Врач подтвердит всё, что прикажет граф. «Помрачение рассудка». «Истерия». «Нравственное падение».

Монастырь. Келья. Черная ряса. И забвение.

А мой Миша... Николенька... останется один во власти этого старика, который растратит его наследство, а самого мальчика сгноит в каком-нибудь кадетском корпусе или закрытом пансионе.

Паника, липкая и душная, накрыла меня с головой. Я вскочила, опрокинув лавку.

— Нет... Нет! — закричала я, хватаясь за голову. — Не отдам!

— Барыня! — Дуняша бросилась ко мне. — Что случилось?! Война?

— Хуже, Дуня. Они едут. В четверг. Забирать Николеньку.
Я заметалась по кухне, как загнанный зверь.

Мне нужно что-то делать. Бежать? Куда? Зима, у нас нет паспортов (их в 19 веке женщинам выдавали только с разрешения мужчин), нас поймают на первой же заставе как бродяг.

Бороться? Чем? У меня нет денег на адвокатов. У меня нет связей.

Дмитрий?

Мысль о Белозерове мелькнула и погасла. Он купец. Граф — дворянин. Даже богатый купец не пойдет против предводителя дворянства ради любовницы (как они все думают) или должницы. Ему это невыгодно.

Документы.

Мне нужны документы.

Может быть, муж оставил какое-то распоряжение? Завещание, где опекуном назначена я? Дарственную? Хоть что-то, что имеет юридическую силу!

Я подхватила юбки и рванула из кухни.

— Барыня, вы куда?!

— В кабинет!

Я бежала по коридорам, не чувствуя ног.

Кабинет покойного барона находился в восточном крыле. Я туда не заходила с момента попадания — там было холодно и противно.

Я распахнула двери.

Запах застоявшегося табака, дешевого коньяка и пыли ударил в нос. Здесь ничего не менялось месяцами.

Тяжелые бархатные шторы были задернуты. На столе — слой пыли, пустые бутылки, какие-то карты.

Я подбежала к столу, рывком выдвинула ящики.

— Ну давай же... Должно же быть хоть что-то!

Бумаги полетели на пол.

Счета из портного. Счета из ресторана. Долговые расписки. Карточные долги. Письма от каких-то дам полусвета.

«Милый Жорж, вы обещали мне браслет...»

— Тварь, — прошипела я, комкая письмо. — Ты пропил всё! Ты даже сына не защитил! Я перерыла всё. Сейф (маленький, вделанный в стену) был открыт и пуст. В нем лежала толькодохлаямышь.

Ничего. Пустота.

Я — никто. У меня нет прав.

Я сползла по стене на пол, прямо в кучу мусора и старых бумаг.

Слезы хлынули из глаз — горькие, безнадёжные. Вся моя бравада, весь мой «успешный бизнес», все эти зефирки и коробки — всё это было замком на песке. Придет большая волна в виде графа Воронцова и смое нас.

Я закрыла лицо руками и зарыдала в голос, воя от бессилия. Я подвела его. Я обещала Мише, что мы «пройдем уровень». А мы проиграли. Game Over.

Дверь скрипнула.

Я затихла, пытаюсь подавить всхлипы. Не хочу, чтобы сын видел меня такой. Жалкой.

— Мам?

Миша стоял на пороге. Маленький, в этой нелепой вязаной кофте, с перепачканными чернилами пальцами.

Он смотрел на меня, на разбросанные бумаги, на мои трясущиеся плечи.

Он не заплакал. Он просто вошел и подошел ко мне.

— Мам, нас забанили? — тихо спросил он.

Я подняла на него заплаканное лицо.

— Хуже, малыш. Они хотят удалить наш аккаунт. Навсегда. И разделить нас. Тебя — на другой сервер, а меня... в корзину.

Миша нахмурился. Его детский лоб прорезала глубокая, совсем недетская складка.

Он полез в карман своих бархатных штанишек. Долго там рылся.

— Не плачь, — сказал он серьезно. — На. Возьми.

Он протянул мне кулачок.

Я машинально подставила ладонь.

На мою руку упал серый, невзрачный камень. Обычный гранитный голыш с белой прожилкой кварца. Грязный, холодный.

— Что это? — всхлипнула я.

— Это камень неувязимости, — пояснил Миша. — Я его на дороге нашел, когда мы дрова таскали. Он волшебный. Если его сильно сжать, то страх проходит. Мне помогло, когда я палец дверью прищемил. Я сжал — и не больно.

Я смотрела на камень.

Камень неувязимости.

Обычный булыжник, в который поверил пятилетний мальчик, чтобы не бояться в чужом, страшном мире.

Я сжала его в кулаке. Острые грани впились в ладонь. Боль была резкой, отрезвляющей.

Тепло от камня — тепло, которое он хранил от рук моего сына, — словно перетекло в меня.

Я представила, как граф Воронцов своими холеными руками тащит Мишу в карету. Как Миша плачет и зовет меня. Как меня запирают в келье.

Нет.

Ярость, горячая, темная, первобытная, поднялась откуда-то из желудка, вытесняя страх.

Я — Полина Андреевна. Я пережила девяностые. Я пережила предательство мужа в будущем. Я выжила после аварии и переноса во времени.

Я не для того прошла через ад, чтобы отдать своего ребенка какому-то напомутому упырю.

Я не овца. Я волчица.

Я вытерла слезы рукавом, размазывая тушь (или что там было на ресницах).

— Спасибо, сынок, — сказала я, поднимаясь с колен. Голос мой звучал хрипло, но твердо. — Камень работает. Страх прошел.

— Правда? — обрадовался Миша.

— Правда. А теперь иди к Дуняше. Пусть она тебя покормит. И закройтесь в детской. Мне нужно... подумать.

Миша убежал, топоча башмаками.

Я осталась одна в кабинете.

Мой взгляд скользнул по стене.

Там, на ковре, среди пятен от сырости, висело оно.

Старое охотничье ружье. Двустволка-тулка.

Муж любил охоту (точнее, любил пить водку на охоте), но последние годы ружье висело без дела. Возможно, оно сломано. Возможно, именно поэтому его не продали.

Я подошла к стене. Сняла оружие.

Оно было тяжелым. Приклад охлаждал руки. Пахло старым оружейным маслом и железом.

Я переломила ствол (механизм сработал туго, со скрипом, но сработал). Пусто.

Нужны патроны.

Я вернулась к столу. Вытряхнула содержимое всех ящиков на пол.

Карты, перья, сургуч...

Вот она.

Помятая картонная коробка в углу нижнего ящика.

Я открыла её. Внутри, в промасленной бумаге, лежали четыре патрона. Крупная дробь. На кабана. Или на волка.

Я взяла два патрона. Они были тяжелыми, холодными.

Руки не дрожали.

Я не умела стрелять. В прошлой жизни я держала в руках только пневматику в тире парка Горького.

Но я знала принцип. Вставить, закрыть, взвести курки, нажать.

Громко. Страшно. Смертельно.

Если они думают, что могут просто прийти и забрать мое дитя, прикрываясь бумажками с гербовыми печатями, они ошибаются.

В этом мире у меня нет прав. Но у меня есть право матери. Право защищать. И это право выше любых законов Российской Империи.

Я сунула патроны в карман платья. Повесила ружье на плечо (ремень больно врезался в ключицу).

Вышла из кабинета.

В коридоре было тихо.

Я спустилась вниз.

— Дуняша! — позвала я.

Экономка выглянула из кухни, увидела меня с ружьем и охнула, прижав руку ко рту.

— Барыня... Господь с вами... Вы куда? На войну?

— Вроде того, — спокойно ответила я. — Слушай приказ. Дом запереть. На все засовы. Окна зашторить. Мишу из детской не выпускать. Никому, слышишь, никому не открывать, пока я не вернусь.

— А вы?

— А я буду в саду. Мне нужно... потренироваться.
Я вышла на заднее крыльцо.

Сумерки сгущались. Сад, заросший и дикий, выглядел зловеще. Черные ветви яблонь тянулись к серому небу, как скрюченные пальцы.

Я прошла по дорожке к старому забору.

Поставила на столб пустую жестяную банку из-под сахара. Отошла на десять шагов.

Вставила патроны. Щелкнула стволом.

Звук был резким, металлическим. Звук приговора.
Я подняла приклад к плечу. Тяжело. Неудобно.

Прицелилась.

В сумерках банка была едва видна.

Но я видела не банку. Я видела лицо графа Воронцова. Я видела ухмылку Аглаи. Я видела всех, кто хотел сломать нас.

— Попробуйте только сунуться, — прошептала я, и облачко пара вырвалось из рта. — Попробуйте только тронуть моего сына. Я устрою вам здесь вторую оборону Севастополя. И мне плевать, что будет со мной потом.

Я положила палец на спусковой крючок.

Дыши, Полина. Дыши.

Вдох. Выдох.

В этом мире нет богов, кроме тех, что мы создаем сами. Сегодня мой бог — это двенадцатый калибр.

Я стояла в зимнем саду, маленькая женщина в нелепом траурном платье, сжимающая в руках смерть, и чувствовала себя абсолютно спокойной.

Страха больше не было.

Был только холодный, звенящий расчет.

Пусть приезжают.

Я буду ждать.

Глава 10 (Белозеров)

от лица Дмитрия Белозерова

В Купеческом собрании Спасска в этот час было накурено так, что хоть топоры вешай. Запах дорогих сигар смешивался с ароматом жареного мяса, звоном хрусталя и гулом десятков голосов, обсуждающих цены на пеньку, зерно и лес.

Я сидел за своим привычным столом у окна, вертя в руках бокал с коньяком. Янтарная жидкость ловила отсветы газовых рожков, но пить не хотелось. Не хотелось и слушать подобострастный лепет приказчика, который пытался всучить мне партию сукна по завышенной цене.

— Дмитрий Игнатьевич, да вы только пощупайте! Английская шерсть, сносу не будет!

— Уйди, Ерофеев, — лениво бросил я, не глядя на него. — У меня свои мануфактуры работают лучше английских.

Ерофеев испарился, как дым. Я остался один на один со своей скукой.

Странное дело. Раньше я любил этот клуб. Здесь, среди равных, среди хищников, делающих деньги из воздуха, я чувствовал себя в своей тарелке. Но сегодня всё это — жирные лица, сальные шутки, звон монет — вызывало глухое раздражение.

В голове крутилась одна и та же картина.

Церковь. Солнечный луч, падающий на женскую фигуру в черном. Прямая спина, гордо вскинутый подбородок. И взгляд, который она бросила на Аглаю Бельскую — взгляд королевы, смотрящей на блоху.

Пелагея.

С того вечера на кухне, когда она накормила меня своим «воздушным поцелуем» (черт бы побрал это название, оно застряло у меня в голове крепче, чем вкус сладости), я не находил себе места.

Я отправил ей дрова. Глупый жест. Сентиментальный.

Но когда я увидел её в церкви — не сломленную, а сияющую какой-то новой, стальной красотой, — я понял, что дрова были не зря.

Она борется.

И, черт возьми, мне это нравилось.

— ...Да говорю тебе, дело верное! — донесся до меня громкий, хмельной голос с соседнего стола. — Лес там строевой, сосна к сосне! Воронцов обещал мне первую делянку уже к Рождеству отдать под вырубку.

Я замер. Рука с бокалом остановилась на полпути ко рту.

Воронцов.

Я чуть повернул голову. За соседним столом сидели трое. Один — толстый чиновник из Дворянской опеки, которого я знал как взяточника первой руки. Второй — лесопромыш-

ленник Хлебников, мой прямой конкурент, вечно пытающийся перехватить мои контракты. Третий — какой-то мелкий стряпчий.

— Погоди, Хлебников, — икнул чиновник, наливая себе водки. — Так ведь имение-то вроде в залоге у Белозерова? Как граф тебе лес продаст?

— А вот так! — Хлебников сально ухмыльнулся, потирая руки. — Граф — голова! Он схему придумал — закачаешься. В четверг комиссию везет. Вдовушку — в монастырь, в психушку, признают её буйной. А опеку — на себя. Как только опеку получит — он распорядитель имущества. Долги Белозерову будет выплачивать по копейке сто лет, а лес продаст мне за наличные. И волки сыты, и вдова... хе-хе... в келье.

Стряпчий захихикал.

— Ловко! А что, вдова и впрямь того? Тронулась?

— Да какая разница? — отмахнулся чиновник. — Доктор наш, губернский, уже бумагу подготовил. Граф ему долг карточный простил за это. Подпишет, что она на людей кидается, и дело в шляпе. Ребенка — в кадеты, бабу — под замок, лес — под топор. Красота!

Стеклянная ножка бокала в моей руке хрустнула и лопнула. Осколки впились в ладонь, коньяк плеснул на скатерть темным пятном, похожим на кровь.

Разговоры за соседним столом смолкли. Троица обернулась на звук.

Увидев мое лицо, Хлебников побледнел и поперхнулся смешком. Я медленно разжал пальцы, стряхивая стекло на пол.

Кровь текла по ладони, но я не чувствовал боли.

Я чувствовал ярость. Холодную, белую, расчетливую ярость.

Значит, вот так.

Пока я даю ей месяц, пока я играю в благородство и жду, выплывет она или нет, этот старый стервятник решил ударить в спину.

Он не просто хочет забрать имение. Он хочет уничтожить её. Сгноить в сумасшедшем доме здоровую, умную, живую женщину. Отобрать у неё сына. И, заодно, кинуть меня на пятьдесят тысяч, продав мой залог этому хорьку Хлебникову.

Я встал. Стул с грохотом отлетел назад.

— Дмитрий Игнатьевич... — пролепетал Хлебников, пытаясь улыбнуться. — Мы тут так... болтаем...

Я подошел к их столу. Навис над ними, опираясь здоровой рукой о столешницу.

— Болтайте, — тихо произнес я. — Болтайте, господа. Язык — он ведь без костей. Пока.

Я не стал устраивать драку. Это было ниже моего достоинства. Я просто посмотрел на чиновника из Опеки так, что тот начал судорожно расстегивать воротничок, хватая ртом воздух.

— Счет мне, — бросил я половому, вытирая окровавленную руку белоснежной салфеткой. — И сани. Живо.

На улице мела метель. Ноябрь в этом году был злым, ранним. Снег летел в лицо колючими иглами, ветер выл в проводах недавно протянутого телеграфа.

Игнат, дремавший на козлах, встрепенулся, увидев меня.

— Домой, барин?

— В «Отрадное».

— Куда?! — кучер вытаращил глаза. — Дмитрий Игнатьевич, помилуйте, ночь на дворе! Метель! Дорогу замело поди, не проедем!

— Гони, — я прыгнул в сани, запахивая шубу. — Если загонишь лошадей — новых куплю. Но чтоб через час я был там.

Сани рванули с места, взрезая полозьями свежий снег.

Я сидел, глядя в темноту, и слушал, как бешено стучит сердце.

Зачем я еду?

Спасать свои деньги? Конечно. Если Граф провернет свою аферу, я потеряю и залог, и проценты. С точки зрения бизнеса я обязан вмешаться.

Но кого я обманываю?

Я ехал не за деньгами.

Я вспомнил, как она стояла на кухне, перепачканная мукой, и протягивала мне зефир. Её пальцы. Её запах. Её смех.

Представить эту женщину в серой монастырской робе, с потухшим взглядом, сломленную, растоптанную...

Нет.

Только через мой труп. Или через труп графа Воронцова, что, впрочем, меня тоже устраивало.

Четверг.

Они сказали — четверг. Сегодня понедельник, вечер. У неё есть два дня. Она наверняка уже получила письмо — Граф любит пугать жертву заранее, наслаждаться страхом.

Что она будет делать?

Зная её характер — тот, новый, который прорезался после болезни, — она не станет плакать в подушку.

Она надевает глупостей.

— Быстрее, Игнат! — крикнул я, когда сани подпрыгнули на ухабе. — Быстрее!

Мы добрались до усадьбы, когда луна, полная и холодная, на мгновение выглянула из-за рваных туч.

Дом стоял темной громадой. Окна были закрыты ставнями — видимо, она решила превратить «Отрадное» в крепость. Разумно.

Но мое внимание привлек не дом.

В саду, за кованой оградой, мелькнула тень.

Я приказал Игнату остановиться у ворот, не въезжая во двор, чтобы не шуметь.

— Жди здесь. И тихо мне.

Я перемахнул через низкий заборчик, утопая по колено в сугробе.

Сад был запущенным. Старые яблони, черные и корявые, тянули ветви к небу. Кусты сирени, укрытые снегом, напоминали сугробы.

В глубине аллеи, там, где когда-то была беседка, стояла фигура.

Я подошел ближе, скрываясь за стволами деревьев. Ветер дул в мою сторону, относя звук шагов.

Это была она.

Пелагея.

На ней было какое-то нелепое пальто, накинутое прямо поверх домашнего платья. Голова не покрыта, волосы растрепались на ветру.

Она стояла боком ко мне, выставив одну ногу вперед.

В руках она сжимала ружье.

Я узнал его. Старая тульская двустволка, курковая. С такой её муж когда-то ходил на уток, пока руки не начали трястись от похмелья. Тяжелая, грубая вещь, не для женских рук.

Она пыталась прицелиться.

На покосившемся столбе забора стояла пустая жестяная банка, едва различимая в лунном свете.

— Дура, — прошептал я, чувствуя, как внутри все сжимается от смеси страха за неё и восхищения. — Что ты творишь?

Она держала оружие чудовищно неправильно. Приклад упирался не в плечевую впадину, а в ключицу. Локти растопырены. Палец уже лежал на спусковом крючке.

Если она нажмет сейчас — отдача сломает ей ключицу. Раздробит кость в крошево. А синяк будет во всю грудь.

И это в лучшем случае. В худшем — ружье, которое не чистили годами, разорвет в руках. Она шмыгнула носом, громко, по-детски. Я увидел, как дрожат её плечи. Не от холода — от напряжения.

Она что-то шептала. Я прислушался.

— ...вторую оборону Севастополя... плевать... не отдам...

Она собиралась стрелять. Прямо сейчас.

Я рванулся вперед. Снег предательски скрипнул под сапогом, но ветер заглушил звук.

Я оказался за её спиной в одно мгновение.

Её палец начал давить на крючок.

Я накрыл её руки своими.левой рукой перехватил цевье, давя вниз, правой накрыл её ладонь на спуске, блокируя нажатие.

— Тихо! — выдохнул я ей прямо в ухо.

Она вскрикнула. Резко, испуганно. Дернулась всем телом, пытаясь развернуться и ударить меня прикладом.

— Пустите!

— Не дергайтесь! — рыкнул я, перехватывая ружье крепче и прижимая её спиной к своей груди, чтобы лишить возможности маневра. — Это я.

Она замерла.

— Дмитрий... Игнатьевич? — голос её сорвался на визг.

— Он самый. Тот, кто только что спас вашу ключицу от перелома.

Я не отпускал её. Мы стояли в заснеженном саду, сплетенные в странном объятии. Я чувствовал спиной её дрожь. Она была тонкой, хрупкой под слоями одежды, но напряженной, как тетива. От её волос пахло морозом и тем самым проклятым яблочным зефиром.

Этот запах ударил мне в голову похлеще любого вина.

— Что вы здесь делаете?! — она попыталась вырваться, но я держал крепко. — Вы следите за мной?!

— Я спасаю вас от глупости, Пелагея Андреевна. Убирайте палец со спуска. Медленно.

Она послушалась. Я аккуратно разрядил курки (они были взведены! безумная женщина!), переломил ствол, вынимая патроны. Тяжелые, с картечью. На волка.

Сунул патроны в карман своей шубы.

Только тогда я разжал объятия и отступил на шаг.

Она тут же развернулась ко мне. Глаза горят, грудь ходит ходуном. В лунном свете она была похожа на разъяренную валькирию, только маленькую и замерзшую.

— Отдайте! — она протянула руку. — Это моя земля! Я имею право защищаться!

— От кого? От консервной банки? — я кивнул на забор. — Или вы ждете кого-то посерьезнее?

Она опустила ружье дулом в снег, опираясь на него, как на трость. Силы, видимо, покидали её вместе с адреналином.

— Я знаю, что они приедут, — сказала она тихо. — Граф прислал письмо. В четверг. С врачом. Они хотят забрать Мишу... Николеньку. И упечь меня в монастырь.

Она подняла на меня глаза. В них стояли слезы, но она не плакала.

— Я не отдам сына, Дмитрий Игнатьевич. Я застрелю первого, кто войдет в детскую. И мне плевать, что будет со мной. Пусть каторга. Пусть виселица. Но сына они не получат.

Её слова резали воздух, как ножи.

Я смотрел на неё и понимал: она не шутит. Эта женщина, которую все считали слабой, готова убить. И умереть.

Господи, где же ты была раньше, Пелагея? Почему я видел в тебе только серую моль?

— Если вы выстрелите, — сказал я жестко, стараясь вернуть её на землю, — вы сделаете именно то, чего хочет Граф.

— Что?

— Вы подтвердите, что вы безумны. Опасны. Врач с радостью напишет в заключении: «Вдова встретила комиссию стрельбой». Вас свяжут, увезут в смиренной рубашке, а мальчика отдадут опекуну в ту же минуту. Вы даже попрощаться не успеете. Ружье — это самый короткий путь к вашему поражению.

Она замолчала. Плечи её поникли. Ружье выскользнуло из руки и упало в снег.

Она закрыла лицо ладонями.

— Что же мне делать? — прошептала она. — У меня нет прав. Я узнавала. Опекун имеет власть. Я никто.

Я шагнул к ней. Взял её за плечи. Они были острыми даже через пальто.

Мне захотелось прижать её к себе. Не чтобы удержать, а чтобы согреть. Защитить от этого ветра, от Графа, от всего мира.

— Посмотрите на меня, — приказал я.

Она отняла руки от лица.

— Вы правы. Силой вы не победите. Граф — предводитель дворянства, за ним закон и связи. Но у него есть слабые места.

— Какие?

— Жадность. И страх скандала.

Я наклонился к ней, глядя прямо в глаза.

— Вам не нужно ружье, Пелагея. Вам нужна хитрость. И вам нужен союзник. Тот, кто знает законы этой стаи лучше, чем вы.

— И где мне его найти? — горько усмехнулась она. — У меня нет денег, чтобы нанять адвоката.

— У вас есть я.

Она замерла. Её глаза расширились.

— Вы? Но... вы же кредитор. Вам выгодно, чтобы имение продали. Граф хочет продать лес, чтобы расплатиться с вами.

— Граф хочет украсть мой лес, — поправил я. — И продать его моему конкуренту. А я не люблю, когда меня обворовывают. И еще больше я не люблю, когда обижают тех, кто... варит хороший зефир.

На её губах мелькнула тень улыбки. Слабая, но настоящая.

— Вы шутите сейчас?

— Я никогда не шучу, когда дело касается денег и принципов.

Я поднял ружье из снега. Отряхнул его.

— Идемте в дом, Пелагея Андреевна. Здесь холодно, а нам нужно обсудить план военных действий. И, если у вас остался чай, я бы не отказался.

Она смотрела на меня с недоверием, смешанным с надеждой.

— Вы правда поможете? Против Графа?

— Я раздавлю его, — спокойно ответил я. — Но при одном условии.

— Каком? — она напряглась.

— Вы будете делать ровно то, что я скажу. Никакой самодеятельности. Никакой стрельбы. И никаких истерик. Мы сыграем спектакль, от которого у Графа случится апоплексический удар. Вы согласны?

Она помолчала секунду. Потом кивнула.

— Согласна.

— Вот и славно.

Я предложил ей руку. Она вложила свою ледяную ладонь в мою.

Я сжал её пальцы, делаясь теплом.

Мы шли к дому по заснеженной аллее. Луна светила нам в спину.

Я знал, что ввязываюсь в опасную игру. Спасать вдову от опекуна — это скандал. Это риск репутацией. Но глядя на её профиль, на упрямо сжатые губы, я понимал: я бы не смог поступить иначе.

Глава 11

Тепло кухни ударило в лицо, как мягкая подушка, мгновенно вышибая из легких морозный воздух. После ледяного ветра в саду здесь казалось невыносимо жарко, пахло остывающим яблочным пюре и сгоревшими поленьями.

Я стояла посреди комнаты, всё ещё сжимая в побелевших пальцах тяжелую двустолку, и дрожала. Дрожь была не от холода, а от того, что называется «отходняк». Адреналин, который гнал меня на улицу убивать, схлынул, оставив после себя ватные ноги и тошноту.

Дмитрий Игнатьевич закрыл за нами дверь, лязгнув засовом. Этот звук прозвучал в тишине дома оглушительно громко.

Он развернулся ко мне. В тусклом свете единственной сальной свечи, которую Дуняша оставила на столе, его лицо казалось высеченным из камня. Тени залегли в глазницах, на скулах играли желваки. Шуба распахнута, под ней — строгий сюртук, на котором таяли снежинки.

Он шагнул ко мне и мягко, но настойчиво забрал ружье.

— Отдай, — тихо сказал он. — Тебе это больше не нужно.

Я разжала пальцы. Оружие переключалось в его огромные руки. Он ловко, привычным движением, поставил его в угол, к печке, словно это была обычная кочерга.

— Садись, — скомандовал он, кивнув на лавку.

Я села. Ноги не держали.

Дмитрий снял шубу, бросил её на соседнюю лавку. Закатал рукава сюртука.

Это было странно. Неправильно. Купец первой гильдии, миллионер, хозяин заводов и пароходов — на моей убогой кухне, среди грязных тазов, возится у самовара.

Он подбросил щепок в затухающий огонь, раздул угли. Налил воды из ведра в чайник.

Его движения были скупыми, точными. Никакой суеты. Так двигаются люди, которые привыкли контролировать всё: от биржевых котировок до пламени в печи.

— Выпейте, — он поставил передо мной кружку с кипятком, в который бросил щепотку сушеной мяты (моей, собранной Дуняшей). — Вам нужно согреться. И успокоиться.

Я обхватила кружку ладонями. Горячая керамика обожгла кожу, но это было приятно. Это возвращало в реальность.

— Вы сказали, что у вас есть план, — мой голос звучал хрипло, как у простуженной вороны. — Какой план может быть против Графа? Он предводитель дворянства. А я... я никто. Белозеров сел напротив, через стол. Свет свечи плясал в его темных глазах.

— Вы — баронесса Воронцова, — весомо произнес он. — Мать наследника. Это немало. Но сейчас вы ведете себя как истеричка, Пелагея. Уж простите за прямоту.

— Я защищаю сына!

— Вы копаете себе яму, — перебил он жестко. — Послушайте меня внимательно. Графу не нужен мальчик. Ему плевать на Николеньку. Ему нужны деньги. Лес, который в залоге у меня. Земля. Остатки активов.

— Я знаю.

— Знаете? — он усмехнулся. — Тогда почему вы подыгрываете ему?

— Я?!

— Вы. Граф строит обвинение на том, что вы лишились рассудка. Что вы буйная. Опасная для общества и ребенка. И что делаете вы? — он загибал пальцы. — Выгоняете слуг. Торгуете на рынке, нарушая сословные приличия. А сегодня ночью вы вышли в сад с ружьем. Если бы я не приехал... Если бы завтра кто-то из шпионов Графа донес, что вы стреляли в темноте... Знаете, что было бы?

Я молчала, глядя в кружку.

— Вас бы связали, — безжалостно продолжал он. — Врач, которого Граф уже подкупил, написал бы заключение о приступе агрессии. Вас бы увезли в смиренной рубашке. А мальчика забрали бы как сироту при живой матери-безумице. Ружье — это билет в монастырь, Пелагея. В один конец.

Меня передернуло. Он был прав. Господи, как же он был прав. Мои рефлексy из 21 века — «бей или беги» — здесь не работали. Здесь работали другие правила.

— Что же мне делать? — прошептала я. — Смириться? Отдать ему всё?

— Нет.

Дмитрий подался вперед. Его ладонь накрыла мою руку, лежащую на столе. Его пальцы были горячими, шершавыми.

— Вам нужно сменить оружие. Ваше ружье — это хитрость. Вы должны стать не волчицей, а лисой. Не амазонкой, а жертвой.

— Жертвой? — я вскинула голову. — Я не буду жертвой!

— Будете, — отрезал он. — Сценической жертвой. Безутешной вдовой, которую травит жестокий, алчный родственник. Вы должны вызвать у общества не страх, а жалость. И симпатию. Слезы — можно. Ружье — нельзя. Обморок — можно. Крик — нельзя. Вы поняли?

Я смотрела на него. В этом тусклом свете он казался демоном-искусителем. Или ангелом-хранителем с тяжелым характером.

— А вы? — спросила я. — Какова ваша роль в этом спектакле, Дмитрий Игнатьевич?

— А я — ваш щит, — он криво усмехнулся. — Пока негласно. Я придерживу своих юристов. Я намекну в Клубе, что Граф ведет нечестную игру с моим залогом. Это заставит его нервничать и торопиться. А когда человек торопится, он совершает ошибки.

— Почему? — вырвалось у меня. — Почему вы это делаете? Вам же проще забрать имение и забыть.

Он помолчал, разглядывая мою руку под своей ладонью. Большим пальцем он машинально поглаживал мою кожу, и от этого простого движения у меня по спине бежали мурашки, никак не связанные с холодом.

— Потому что я не люблю стервятников, Пелагея, — наконец сказал он, поднимая взгляд. — И потому что я поставил на вас.

— Поставили? Как на лошадь?

— Как на партнера. Тот зефир... — он запнулся, и в его глазах мелькнуло что-то темное, тягучее. — В нём есть потенциал. И в вас он есть. Я хочу посмотреть, как вы выиграете эту партию.

В кухне повисла тишина. Только трещали дрова и гулко стучало мое сердце.

Мы сидели так близко, что я могла разглядеть морщинки в уголках его глаз. Запах его парфюма — табак и кожа — смешивался с ароматом мяты.

Это было интимнее, чем если бы мы лежали в одной постели. Мы делили тайну. Мы были заговорщиками.

— Граф написал, что приедет в четверг, — сказала я, нарушая молчание. — У меня есть два дня.

— Два дня, чтобы привести дом в идеальный порядок, — кивнул Дмитрий, убирая руку (мне сразу стало холодно). — Спрячьте все следы вашего «цеха». Никаких коробок, никакой муки на полу. Дом должен выглядеть достойно. Бедно, но чисто. Ребенок должен быть умыт, причесан и знать «Отче наш», а не ваши... «стартапы».

— Он знает.

— Отлично. И главное — ружье.

Он встал, подошел к печке, взял двустволку.

— Я заберу его. От греха подальше. Скажете, что продали или потеряли.

Он надел шубу. В кухне сразу стало меньше места. Он заполнил собой всё пространство, вытесняя воздух.

Я тоже встала, провожая его к дверям.

За окном серело. Скоро рассвет.

Если его увидят выходящим из моего дома утром — позора не оберешься. Хотя, какой уж там позор... Хуже не будет.

У порога он остановился.

— Запритесь, — сказал он, берясь за ручку двери. — И, Пелагея...

Он посмотрел на меня сверху вниз. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержался на губах, потом поднялся к глазам.

— Не бойтесь. Страх пахнет. Граф почует его, как собака.

Он протянул руку и поправил воротник моего пальто, который сбился на сторону. Его костяшки скользнули по моей шее.

— Ваше главное оружие — это ваш ум, — прошептал он. — И эти глаза. Когда вы смотрите так, как сейчас... хочется отдать вам не только долг, но и душу.

Я замерла, не в силах вдохнуть.

Он резко отдернул руку, словно обжегся. Толкнул дверь и шагнул в метель, растворяясь в предрассветной мгле.

Я навалилась спиной на дверь, сползая по ней вниз.

Ноги не держали.

«Хочется отдать душу».

Господи, о чем он? Он же Медведь. Делец. Циник.

Или нет?

Я прижала ладонь к шее, там, где он коснулся меня. Кожа горела.

Спать я не легла. Смысла не было.

До четверга оставалось двое суток. Граф дал мне фору, и я собиралась использовать каждую минуту.

Я разбудила Дуняшу.

— Подъем, главнокомандующий по клинингу! — скомандовала я, стягивая с неё одеяло.
— У нас аврал.

— Что, опять зефир варить? — сонно пробормотала она.

— Нет. Прятать.

Весь день вторника прошел в безумной, лихорадочной суете.

Мы превращали «кондитерский цех» обратно в дворянское гнездо.

Коробки с готовой продукцией (а их накопилось немало) мы с Федькой перетащили на чердак, запрятав в самые дальние углы, за старые сундуки, и закидали сверху ветошью. Если комиссия полезет туда — скажем, старое барахло.

Медные тазы были вычищены и убраны в шкафы.

Мука, сахар, яблоки — всё было спрятано в погреб, под замок. Ключ я повесила себе на шею.

— Дом должен сиять, — твердила я, натирая полиролью (смесь воска и скипидара, которую нашла в кладовой) перила лестницы. — Ни пылинки. Ни соринки. Чтобы они не могли сказать, что здесь грязно.

Дуняша мыла полы. Федька выбивал ковры на снегу.

Миша, проникнувшись серьезностью момента, сидел в своей комнате и зубрил молитвы.

— «Иже еси на небеси...» Мам, а «да святится имя Твое» — это про никнейм Бога? — спрашивал он, выглядывая в коридор.

— Миша! Никаких никнеймов! — шикала я. — Просто текст. Как стихотворение Пушкина.

К полудню дом преобразился.

Конечно, это все еще была старая, обветшавшая усадьба. Обои местами отходили, мебель была потертой. Но теперь это была чистая бедность. Бедность достойная, а не опустившаяся.

В гостиной я расставила мебель так, чтобы скрыть проплешины на ковре. На стол постелила лучшую скатерть (с одним пятнышком, которое прикрыла вазой).

В вазу я положила несколько зефирок.

— Это зачем? — спросила Дуняша. — Спрятать же хотели.

— Это улика, которая будет говорить в нашу пользу, — пояснила я. — Если спросят про запах (а он все равно остался), скажу: «Вот, изволила к чаю приготовить, женская прихоть». Пара штук — это не торговля. Это милое хобби.

Я сама переоделась. Сняла свое рабочее платье. Надела то самое, черное, с белым воротничком, в котором была в церкви. Волосы убрала в строгий пучок, ни одной лишней прядки.

Никакой косметики (хотя её и так не было). Бледность мне на руку.

Я посмотрела в зеркало.

Оттуда на меня глядела идеальная скорбящая вдова. Хрупкая, но с прямой спиной.

— Ну что, дядюшка, — сказала я отражению. — Мы готовы. Ждем четверга.

Но жизнь, как известно, лучший сценарист триллеров. И она ненавидит спойлеры.

Именно поэтому всё пошло не так.

Наступил полдень.

Солнце стояло высоко, заливая заснеженный двор ослепительным светом.

Мы с Мишей сидели в гостиной. Я проверяла его знания этикета.

— Как ты обращаешься к графу?

— Ваше сиятельство, — отчеканил сын, одетый в свой лучший бархатный костюмчик, причесанный волосок к волоску.

— Молодец. А если он спросит, что ты кушал на обед?

— Суп с фрикадельками и кашу. (Мы специально сварили суп, чтобы пахло едой, а не только ванилью).

— Умница.

Вдруг во дворе залаяли собаки.

Не так, как вчера, не злобно. А как-то... растерянно. Словно их задавили авторитетом.

Я подошла к окну, отодвинула штору.

Сердце пропустило удар и ухнуло куда-то в желудок.

В ворота усадьбы, наплевав на сугробы, въезжала карета.

Огромная, черная, лакированная карета, запряженная четверкой вороных лошадей. На дверце сияли золотые львы.

Следом за ней катилась вторая — попроще, казенная, с желтыми полосами. Полицейская или врачебная.

— Мам? — Миша подошел ко мне. — Это кто? Медведь?

— Нет, сынок, — прошептала я, чувствуя, как холод сковывает пальцы. — Это не Медведь. Это Волки.

Я посмотрела на календарь на стене.

Вторник.

Сегодня вторник!

В письме было черным по белому написано: «в четверг».

— Он соврал, — выдохнула я. — Старый, хитрый лис. Он специально написал неправильную дату. Чтобы мы расслабились. Чтобы застать нас врасплох, в халатах, непричесанных, с бардаком...

Но он просчитался.

Он не знал, что я — женщина из 21 века, у которой паранойя — профессиональное заболевание. И что я привыкла делать всё заранее.

Мы готовы.

Но от этого было не менее страшно.

— Дуняша! — крикнула я, выбегая в холл. — Открывай двери!

В прихожую ввалилась Дуняша, белая как полотно.

— Барыня! Там Граф! И жандарм! И еще какой-то в очках!

— Спокойно, — я положила руки ей на плечи, встряхнула. — Мы ждали их. Просто раньше. Вспомни, что говорил Дмитрий Игнатьевич. Я — жертва. Ты — верная слуга. Плакать можно, падать в обморок нельзя. Поняла?

— Поняла...

Стук в дверь был таким властным, что с потолка посыпалась штукатурка.

— Отворяйте! Именем Опекунского совета!

Дуняша отодвинула засов.

Дверь распахнулась, впуская клуб морозного пара и запах дорогих духов, смешанный с запахом казенных чернил.

Первым вошел он.

Граф Аркадий Петрович Воронцов.

Я видела его только на портретах и мельком на похоронах мужа (в воспоминаниях Пелагеи). В жизни он оказался еще неприятнее. Высокий, сухой старик с лицом хищной птицы. Седые бакенбарды, колючие глаза под нависшими веками. Шуба распахнута, на шее — орденская лента.

Он вошел как хозяин. Не снимая шапки, ударил тростью об пол.

Следом за ним семенил щуплый человечек с кожаной папкой — стряпчий или юрист.

И замыкал шествие грузный мужчина с красным лицом и саквояжем — доктор.

Жандарм остался у дверей, положив руку на эфес шашки.

Граф обвел холл брезгливым взглядом. Он искал грязь. Искал разруху.

Но его взгляд наткнулся на натертый до блеска паркет, чистые ковры и меня — стоящую в центре холла в безупречном трауре, держащую за руку опрятного, спокойного ребенка.

На секунду на лице Графа мелькнуло разочарование. Но он тут же скрыл его за маской надменности.

— Ну здравствуй, племянница, — проскрипел он. Голос был неприятный, высокий. — Не ждала?

— Ваше сиятельство, — я склонила голову в легком поклоне (не слишком низком, но достаточном, чтобы соблюсти этикет). — Мы ждали вас в четверг. Ваше письмо...

— Письма теряются, почта работает скверно, — перебил он, махнув рукой в перчатке. — Я решил не откладывать. Дело безотлагательное. Речь идет о здоровье ребенка.

Он шагнул ко мне, нависая.

— Господа, — обратился он к свите, не глядя на меня. — Прошу зафиксировать. В доме... хм... подозрительно тихо. Видимо, прислуга разогнана в припадке буйства. Мать выглядит истощенной. Глаза лихорадочные. Налицо признаки душевного расстройства.

— Простите, дядюшка, — я перебила его тихо, но твердо. — Прислуга занята делом. Обед на плите. Дом в порядке. О каком расстройстве вы говорите?

Граф уставился на меня. Он ожидал оправданий, слез, криков. Мое спокойствие его бесило.

— Ты смеешь мне перечить? — прошипел он. — Доктор! Приступайте к осмотру. Мальчика — забрать. Мне нужно поговорить с ним наедине. В карете.

Юрист дернулся к Мише.

— Пойдемте, молодой человек. Дядя хочет угостить вас конфетой.

Миша сжал мою руку так, что мне стало больно. Он побледнел, но молчал, глядя на «дядю» исподлобья.

Я сделала шаг вперед, закрывая собой сына.

Вспомнила слова Дмитрия: «Не амазонкой, а жертвой».

Но когда к твоему ребенку тянет руки чужой мужик, трудно играть жертву.

— Осмотр — пожалуйста, — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Здесь. В гостиной. При свидетелях. Мальчик никуда не пойдет. На улице мороз, он только что после болезни. Вы хотите его простудить, Ваше сиятельство? Это так вы печетесь о его здоровье?

Граф прищурился.

— Ты отказываешься подчиниться опекуну?

— Я забочусь о сыне. Как мать. Разве это безумие?

— Доктор! — рявкнул Граф. — Вы видите? Она неадекватна. Она препятствует! Пишите протокол!

Доктор, тяжело дыша, достал блокнот.

— Пелагея Андреевна, — елеинным голосом начал он. — Голубушка, не волнуйтесь. Мы просто хотим помочь. Отдайте ребенка, вам нужно отдохнуть. В монастыре такой чудесный воздух...

Они начали сжимать кольцо.

Граф с тростью. Юрист с папкой. Доктор с потными руками. Жандарм у дверей.

Я чувствовала себя загнанной в угол.

Миша прижался к моей ноге. Я чувствовала, как он дрожит.

Камень. У него в кармане камень. А у меня — ничего. Только слова Дмитрия и моя злость.

Юрист протянул руку и схватил Мишу за плечо.

— Пошли, парень, не упрямясь...

— Не трогай меня! — крикнул Миша. — Ты не имеешь права! Это харассмент! Слово повисло в воздухе.

Граф торжествующе поднял палец.

— Слышали?! — возопил он. — «Харассмент»! Бесовская тарабарщина! Мать научила его языку дьявола! Она одержима! Вязать её!

Жандарм сделал шаг от двери.

Всё. Конец. Одно слово — и мы погибли.

Я схватила со столика тяжелую вазу (ту самую, с зефиром). Это было не по плану. Это было не по-лисы. Это было по-волчьи.

— Назад! — крикнула я, замахиваясь вазой. — Кто подойдет — голову проломлю! Граф отшатнулся.

— Она буйная! Я же говорил!

— Только через мой труп, дядюшка! — выдохнула я, чувствуя, как адреналин затапливает сознание. — Вы не получите ни имения, ни сына!

В этот момент, когда напряжение достигло пика и жандарм уже потянулся к кобуре, входная дверь снова распахнулась.

С грохотом, ударившись о стену.

В холл ворвался клуб морозного пара.

И низкий, спокойный, насмешливый голос произнес:

— Какая экспрессия, Аркадий Петрович. Вы что, репетируете любительский спектакль? И почему без меня?

Все обернулись.

На пороге стоял Дмитрий Белозеров.

Без шубы, в одном сюртуке (видимо, бежал из саней). Огромный, спокойный и злой, как черт.

Он посмотрел на меня — с вазой в руке. На бледного Мишу. На опешившего Графа.

И улыбнулся.

Улыбкой, которая обещала Графу очень, очень большие неприятности.

— Добрый день, господа, — сказал он, стряхивая снег с плеча. — А я, знаете ли, мимо проезжал. Решил заглянуть на чай. А тут, я погляжу, вечеринка?

Глава 12

Время в холле усадьбы «Отрадное» словно замерло, превратившись в вязкий, холодный кисель.

Я стояла с тяжелой фарфоровой вазой, занесенной над головой, чувствуя, как дрожат руки — не от страха, а от переизбытка адреналина. Напротив, вжав голову в плечи, застыл граф Воронцов. Его лицо, еще секунду назад выражавшее надменное торжество, теперь исказила гримаса растерянности.

А в дверях, в клубах морозного пара, стоял он.

Дмитрий Белозеров.

Он был без шубы, в одном темно-синем сюртуке, на плечах таяли снежинки. Грудь его вздымалась, словно он бежал, но лицо оставалось пугающе спокойным.

Таким спокойствием обладает хищник, который точно знает: в этом лесу он — главный.

— Какая экспрессия, Аркадий Петрович, — повторил он, делая шаг внутрь и небрежно стряхивая снег с рукава. — Вы что, репетируете любительский спектакль? «Укрощение строптивой»? И почему без меня?

Граф первым пришел в себя. Он выпрямился, оперся на трость и попытался вернуть себе вид оскорбленного достоинства.

— Белозеров? — прошипел он. — Что вы здесь делаете? Это частное владение! И частное дело семьи Воронцовых!

— Ошибаетесь, граф, — Дмитрий прошел в центр холла, игнорируя жандарма, который почтительно посторонился (деньги в этом городе уважали больше, чем титулы). — Это владение находится в залоге. У меня. А значит, любые действия, ведущие к порче имущества — будь то выбитые двери или доведение хозяйки до нервного срыва, — касаются меня напрямую. Я берегу свои инвестиции.

Он встал между мной и Графом. Огромный, надежный, как скала.

Я почувствовала, как от его спины исходит жар.

Дмитрий медленно повернулся ко мне. Его взгляд скользнул по моему побелевшему лицу, по Мише, который вцепился в мою юбку, и остановился на вазе в моих руках.

— Пелагея Андреевна, — произнес он мягко, но с той ноткой приказа, которой невозможно не подчиниться. — Поставьте вазу. Это китайский фарфор, восемнадцатый век. Слишком дорогой снаряд для такой... незначительной цели.

Я моргнула, выходя из ступора. Руки затекли. Я медленно опустила вазу на столик.

— Он хотел забрать Мишу, — хрипло сказала я. — Силой.

— Я вижу, — Дмитрий кивнул. — Но теперь здесь я. И мы будем говорить на языке закона, а не подворотни. Верно, господа?

Он обернулся к свите Графа. Юрист сжался под его взглядом, доктор нервно протер очки.

Граф побагровел. Желваки на его впалых щеках заходили ходуном. Он понял, что блиц-криг провалился. Силой вытащить ребенка при свидетеле-купце, который завтра же раструбит об этом в Клубе и подаст жалобу губернатору, он не мог.

Нужно было менять тактику.

— Закона? — ядовито переспросил Граф. — Прекрасно. Закон на моей стороне. Я — опекун. Я приехал с комиссией, чтобы зафиксировать вопиющие условия содержания ребенка. Мать не в себе! Посмотрите на неё! Она кидается на людей с предметами интерьера!

— А вы врываетесь в чужой дом с жандармами, — парировал Дмитрий. — Любая мать будет защищать свое дитя. Это инстинкт, а не безумие.

— Мы проверим, — процедил Граф. — Доктор! Приступайте к осмотру помещений. Я уверен, мы найдем доказательства того, что эта женщина опасна и не способна вести хозяйство. Грязь, холод, отсутствие еды...

Он брезгливо ткнул тростью в сторону гостиной.

— Прошу.

Я выдохнула. Первый раунд мы выстояли. Теперь начинался второй — битва за репутацию.

Спасибо моей паранойе и вчерашней генеральной уборке.

— Милости просим, дядюшка, — сказала я, расправляя складки платья и принимая самый достойный вид. — Осматривайте. Нам скрывать нечего.

Комиссия двинулась по дому.

Это было унизительно. Трое чужих мужчин ходили по моему жилищу, заглядывали в углы, проводили пальцами по поверхностям, ища пыль.

Граф шел первым, стуча тростью. Он был похож на стервятника, высматривающего падаль.

— Холодно, — буркнул он, входя в гостиную.

— В доме двадцать градусов, — спокойно возразила я (переведа ощущения в привычную шкалу, хотя здесь мерили по Реомюру). — Печи протоплены.

Действительно, благодаря дровам Дмитрия в доме было тепло. Граф поморщился. Аргумент «заморозила ребенка» отпал.

Доктор заглянул на кухню. Там было чисто. Медные тазы сияли, на плите стояла кастрюля с супом (спасибо, Дуняша!). Пахло бульоном и... всё ещё предательски сладко пахло ванилью.

— Чем это пахнет? — подозрительно спросил юрист, поводя носом. — Как в кондитерской.

— Ароматические саше, — не моргнув глазом, соврала я. — Французская мода. Успокаивает нервы.

Они поднялись в детскую.

Миша шел с нами, крепко держа меня за руку. Второй рукой он сжимал в кармане свой «камень неувязимости».

В детской был порядок. Игрушки сложены, кровать заправлена. На столе лежал открытый учебник (азбука) и тетрадь с прописями.

— Мальчик занимается? — спросил доктор, листая тетрадь.

— Ежедневно, — подтвердила я. — Грамматика, арифметика, закон Божий.

— А гувернантка? — встрял Граф.

— Я занимаюсь с ним сама. Мое образование позволяет.

Граф фыркнул.

— Образование... Танцы и вышивание? Чему ты можешь научить будущего барона? Я промолчала. Не время для споров о педагогике.

Казалось, они ничего не найдут. Граф становился всё мрачнее. Он понимал, что его план признать меня «опустившейся» трещит по швам.

Мы спустились обратно в гостиную.

— Ну что ж, — начал было доктор, пряча блокнот. — Явных признаков антисанитарии или угрозы жизни я не вижу...

И тут случилось страшное.

Граф, проходя мимо комода, задел тростью край скатерти. Ткань съехала.

И открыла то, что я в спешке не успела убрать далеко.

Красивую, обклеенную розовой бумагой шляпную коробку с вензелем «П.В.». Ту самую, которую мы приготовили для Марьи Гавриловны, но еще не завязали лентой.

Крышка была приоткрыта.

Глаза Графа хищно сверкнули.

— А это что такое? — он подцепил крышку концом трости и отбросил её.

Внутри, на кружевной салфетке, лежали ровные, белоснежные ряды зефира.

Запах антоновки и сахара ударил в нос.

— Ага! — возопил Граф так, словно нашел окровавленный нож. — Вот оно! Я знал!

Он повернулся к доктору, тыча пальцем в коробку.

— Видите? Видите?! Слухи не враль! Она превратила дворянское гнездо в лавку! Она печет сладости на продажу!

Он схватил коробку и потряс ею перед носом юриста.

— Баронесса Воронцова торгует булками! Какое падение! Какой позор! Это же доказательство её неадекватности! Женщина её круга не может опуститься до ремесла, если она в здравом уме! Это мания! Пишите, доктор: «Патологическая тяга к мещанскому труду и попрание сословных норм»!

Я похолодела.

Это был конец.

В 19 веке дворянин, занимающийся торговлей лично, руками, — это нонсенс. Это скандал. Это действительно могли подвести под «нравственное помешательство».

Граф торжествовал. Он нашел уязвимость.

— Что вы скажете на это, племянница? — он навис надо мной, брызгая слюной. — Кому вы собирались это продать? Купчихам на базаре? Или, может, сами встали бы за прилавок?

Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но горло перехватило спазмом. Любое оправдание звучало бы жалко.

— Она не продает это, — раздался спокойный, ленивый голос.
Все обернулись.

Дмитрий Белозеров, который всё это время стоял у окна, наблюдая за фарсом, медленно подошел к столу.

Он взял из коробки одну зефирку. Поднес к лицу, вдохнул аромат.

Взглянул на меня. В его глазах плясали чертики.

— Граф, вы удивительно близоруки для вашего возраста, — сказал он, отправляя сладость в рот.

Он жевал медленно, с наслаждением, глядя прямо в глаза Графу.

— Ммм... Великолепно.

— Что значит «не продает»? — растерялся Граф. — А что же это? Здесь целый короб!

— Это, Аркадий Петрович, благотворительность, — заявил Дмитрий, проглотив кусочек.
— Пелагея Андреевна готовит угощение для городского сиротского приюта. К Рождеству.

Он повернулся ко мне и подмигнул (так быстро, что никто, кроме меня, не заметил).

— Ведь так, баронесса? Вы же говорили мне, что хотите порадовать сирот французским десертом?

Я схватилась за эту соломинку, как утопающий.

— Да, — выдохнула я, стараясь придать голосу твердость. — Именно так. Это для приюта. Благотворительный взнос. Разве забота о бедных сиротах — это безумие, дядюшка? Или вы против христианского милосердия?

Повисла тишина.

Граф побагровел до синевы. Он попал в ловушку. Благотворительность была в моде. Сама Императрица покровительствовала приютам. Обвинить вдову в том, что она кормит сирот, — значит пойти против общественных устоев.

— Для... сирот? — выдавил он. — Французский десерт?

— Сироты тоже дети, граф, — жестко сказал Дмитрий. — Или вы считаете, что они достойны только сухарей? Странная позиция для предводителя дворянства.

Доктор кашлянул, пряча улыбку в усы.

— Гхм... Если это благотворительность, Ваше сиятельство, то это, напротив, характеризует баронессу с самой лучшей стороны. Высокая мораль... сострадание...

Граф швырнул коробку на стол. Зефир рассыпался белыми шариками.

Он понял, что его обыграли. И сделал это ненавистный купец.

— Хорошо, — прошипел он. — Допустим. Но это не отменяет главного. Ребенок. Он резко развернулся на каблуках и уставился на Мишу.

Мальчик сидел в кресле, болтая ногами, и наблюдал за происходящим с выражением скупающего философа.

Граф решил, что нашел слабое звено. Ребенка легко запугать. Ребенка легко запутать.

Он подошел к Мише, навис над ним черной тучей.

— Ну что, Николай, — голос Графа стал приторно-сладким, от чего меня затошнило. — Скажи честно дяде. Тебе здесь плохо? Мама тебя обижает?

Миша посмотрел на него ясными глазами.

— Нет.

— Не бойся, — Граф положил руку на плечо сына. Миша дернулся. — Мама тебя не накажет. Я тебя заберу. У меня большой дом, много игрушек, лошадки... А здесь холодно и скучно. Ты ведь хочешь поехать со мной?

Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони.

Дмитрий сделал шаг вперед, но я видела — он не успеет вмешаться, если Миша скажет что-то не то.

Все зависело от пятилетнего мальчика из 21 века.
Миша вздохнул. Тяжело, как старик.

Он убрал руку Графа со своего плеча — вежливо, но решительно.

— Дядя, — сказал он звонким голосом. — Вы душный.

В комнате повисла звенящая тишина.

Глаза Графа полезли на лоб.

— Ч-что?

— Душный, — повторил Миша. — Откройте форточку, пожалуйста. А то у меня пинг скачет.

Доктор уронил пенсне. Юрист поперхнулся. Дмитрий отвернулся к окну, и я видела, как трясутся его плечи — он беззвучно смеялся.

Граф задохнулся от возмущения.

— Что он несет?! Какой пинг?! Это бред! Ребенок бредит! Он заразился безумием от матери! Слышите, доктор? Он говорит на тарабарщине!
Я поняла: надо спасти ситуацию. Иначе «пинг» станет диагнозом.

Я подошла к сыну, положила руку ему на голову.

— Простите, дядюшка, — сказала я с самым невинным видом. — Николенька имеет в виду... медицинский термин. Мы читали французскую энциклопедию. Pinger — это... эээ... учащенное сердцебиение от нехватки кислорода. Ребенок говорит, что вы его пугаете, вы слишком давите, и у него сердце колотится. Ему душно.

Я посмотрела на доктора.

— Разве это не признак стресса, доктор? Когда к ребенку вторгаются незнакомые люди и начинают его допрашивать?

Доктор, который явно хотел поскорее закончить этот фарс, закивал:

— Совершенно верно! Нурохиа, нервное возбуждение. Мальчику нужен покой, а не допросы. Аркадий Петрович, я не вижу оснований для изъятия. Ребенок развит, начитан... даже, кхм, французские термины знает.

Граф стоял посреди гостиной, обтекаемый потоками своего поражения.

Он проиграл по всем фронтам. Грязи нет. Безумия нет. «Торговля» оказалась благотворительностью. Ребенок не запуган, а дерзит «по-научному».

И за всем этим маячит фигура Белозерова, который явно не даст в обиду свой залог.

— Хорошо, — прохрипел Граф, сжимая набалдашник трости так, что побелели костяшки. — Хорошо. Сегодня вы выкрутились.

Он обвел нас ненавидящим взглядом.

— Но это еще не конец, племянница. Не думай, что победила.

Он подошел к дверям.

— Я подаю прошение в Губернское Дворянское собрание. О проверке нравственного облика вдовы Воронцовой. Раз уж вы такая... благотворительница и светская дама...

Он злорадно ухмыльнулся.

— Через две недели — Зимний бал у Губернатора. Я буду там. И всё общество будет там. Если вы, Пелагея Андреевна, осмелитесь явиться и доказать, что вы достойны носить фамилию Воронцовых, что вас принимают в свете, а не шарахаются как от прокаженной... тогда я, возможно, пересмотрю вопрос об опеке.

— А если нет? — тихо спросила я.

— А если вы не явитесь или опозоритесь... — он сделал паузу. — Я заберу ребенка по решению Собрания. И тогда никакой купец вам не поможет.

Он хлопнул дверью так, что зазвенели стекла.

Следом, кланяясь, выскочили юрист и доктор.

В доме наступила тишина.

Ноги мои подкосились, и я рухнула в кресло, чувствуя, как рубашка прилипла к спине.

Всё. Уехали.

Мы живы. Миша со мной.

— Мам, я правильно сказал? — спросил Миша, дергая меня за рукав. — Он реально токсик.

— Ты молодец, сынок, — я прижала его к себе, целуя в макушку. — Ты мой герой. Иди к Дуняше, пусть она даст тебе зефирку. Или две.

Когда Миша убежал, я подняла глаза на Дмитрия.

Он всё ещё стоял у окна, глядя вслед отъезжающей карете.

— Спасибо, — сказала я. — Если бы не вы...

— Если бы не я, вы бы уже ехали в монастырь, — жестко ответил он, оборачиваясь.

Он был зол. Или напряжен.

— Вы понимаете, что он сделал, Пелагея?

— Он уехал.

— Он загнал вас в ловушку. Бал у Губернатора. Это не танцульки. Это суд. Суд общества.

Дмитрий подошел к столу, взял в руки рассыпанный зефир, повертел его.

— Вам нечего надеть. У вас нет денег на экипаж. У вас репутация сумасшедшей торговки. Если вы появитесь там в перешитом старье, вас уничтожат. Аглая Бельская и её свора сожрут вас с потрохами. А если не появитесь — Граф объявит, что вы признали свое падение, и заберет сына.

Я выпрямилась.

— Значит, я пойду.

— В чем? В этом? — он кивнул на мое траурное платье. — Туда нужен туалет по последней моде. Бриллианты.

— Я что-нибудь придумаю. Я сошью. Я переделаю шторы, как Скарлетт О'Хара.

— Кто? — не понял Дмитрий.

— Неважно. Героиня одной книги. Она тоже очень хотела выжить. Дмитрий смотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом.

— Вы неисправимы, — наконец сказал он. — Шторы... Господи, с кем я связался.

Он покачал головой, но в уголках его глаз залегли морщинки улыбки.

— Готовьтесь, Пелагея. Танцевать придется на углях.

— Я умею, — ответила я. — Главное, чтобы музыка была подходящая. Он хмыкнул, взял свою забытую на лавке (или где он её оставил?) шубу.

— Я пришлю вам портниху. Не спорьте. Это... в счет будущего урожая яблок.

— Дмитрий Игнатьевич, — я остановила его у выхода. — Яблоко столько не вырастет.

Он обернулся.

— Тогда будете должны мне танец. Первый вальс.

— Это скандал. Купец танцует с баронессой.

— Мы и так с вами — ходячий скандал, — он подмигнул. — До встречи на балу, партнер. Он ушел.

Я осталась в тишине гостиной.

Бал.

Через две недели мне предстояло выйти на арену цирка, где вместо львов будут светские львицы, а вместо хлыста у меня будет только моя гордость и, возможно, платье из штор.

Но у меня был сын. И у меня был Медведь.

— Потанцуем, дядюшка, — прошептала я. — Потанцуем.

Глава 13 (Белозеров)

от лица Дмитрия Белозерова

В моем кабинете, обычно просторном и светлом, сейчас царил хаос. Стол был завален папками, векселями и выписками из банковских книг.

Я сидел, откинувшись в кресле, и смотрел на своего поверенного, Илью Соломоновича. Этот щуплый, похожий на нахохлившегося ворона старик знал о финансовой жизни губернии больше, чем сам губернатор.

— Ну что, Илья? — спросил я, постукивая пальцами по столешнице. — Чем дышит наш любезный граф Воронцов?

Илья Соломонович снял очки, протер их клетчатым платком и вздохнул так тяжело, словно на его плечах лежал весь груз мировой скорби.

— Плохо дышит, Дмитрий Игнатьевич. С хрипотцой. Если бы долги были водой, граф давно бы утонул, и даже шляпы бы на поверхности не осталось.

— Подробнее.

— Имение «Заречье», где он проживает, заложено в Земельном банке дважды. Проценты не плачены с Пасхи. Векселя гуляют по всему городу, даже ростовщики с Хитровки перестали давать ему ссуды. Карточный долг князю Мещерскому — три тысячи рублей, срок уплаты — к Рождеству.

Я усмехнулся. Картинка складывалась.

Граф Аркадий Петрович не просто злой дядюшка, который печется о нравственности племянницы. Он — крыса, загнанная в угол.

— Значит, ему нужны деньги. Срочно.

— Как воздух, — подтвердил поверенный. — И единственный актив, который он может теоретически превратить в наличные — это опекунство над малолетним Николаем Воронцовым.

— И продажа леса в «Отрадном», — закончил я за него. — Того самого леса, который стоит в залоге у меня.

Я встал и подошел к окну. Снег на улице искрился под холодным солнцем, но меня этот вид не радовал.

Граф пошел ва-банк. Этот бал, этот ультиматум — это не забота о чести семьи. Ему нужно убрать Пелагею с дороги, чтобы получить доступ к подписи опекуна. Как только он получит права на ребенка, он продаст лес моему конкуренту Хлебникову за наличные, закроет свои карточные дыры, а со мной будет судиться годами, выплачивая по рублю в месяц.

Хитрый, старый лис.

— Ищи дальше, Илья, — бросил я, не оборачиваясь. — Мне нужно что-то посерьезнее, чем просто долги. Растрата казенных денег? Махинации с поставками овса в армию? Найди мне крючок, на котором я смогу подвесить его репутацию.

— Будет сделано, Дмитрий Игнатьевич. Но... — старик замялся.

— Что?

— Бал, Дмитрий Игнатьевич. Суд света — он ведь страшнее суда уголовного. Если баронессу заключают там, если общество отвернется от неё... Никакой компромат на Графа не поможет ей оставить ребенка. Закон будет на стороне «морали».

Я знал это.

Вчера я выиграл для неё время. Я отбил первую атаку. Но Граф загнал нас в ловушку.

Бал у Губернатора — это эшафот, украшенный гирляндами. Пелагея там чужая. Нищая, с подмоченной репутацией, без защиты.

«У нее есть я», — подумал я и тут же одернул себя.

Кто я? Купец. Денежный мешок. Мое покровительство может стать для неё как щитом, так и клеймом. «Содержанка купца» — такой ярлык приклеится намертво.

Нужно действовать тоньше.

— Ступай, Илья. Работай.

Когда поверенный ушел, я посмотрел на календарь.

Две недели.

У меня есть две недели, чтобы сделать из «безумной торговки» королеву бала. Женщину, на которую никто не посмеет посмотреть косо.

А для этого нужна броня.

Женская броня шьется из шелка и бархата.

Модная лавка «Мадам Жюли» располагалась на Большой Дворянской и была местом, куда мужчины моего круга заходили редко. Здесь царил запах французских духов, шелест тканей и тихие, вкрадчивые голоса.

Здесь продавали не платья. Здесь продавали статус.

Когда я вошел, колокольчик над дверью звякнул тревожно и громко.

Внутри было тепло и душно. Две приказчицы, разворачивающие рулон кружева, замерли, увидев меня.

В центре зала, словно паучиха в своей паутине, стояла сама мадам Жюли — сухопарая француженка (или одесситка, кто их разберет) с неизменным сантиметром на шее.

Она окинула меня взглядом поверх пенсне. Купец. В шубе. В таком месте.

Фи.

— Мсье желает выбрать подарок для... — она сделала паузу, подбирая слово, — племянницы?

— Мсье желает поговорить с хозяйкой. Приватно, — я прошел вглубь лавки, и мой бас, казалось, заставил дрожать хрустальные подвески на люстре.

Жюли жестом отослала приказчиц.

— Я вас слушаю, Дмитрий Игнатьевич. Наслышана о ваших... успехах. Но боюсь, у нас нет сукна для шинелей.

— Мне не нужно сукно. Мне нужно платье. Лучшее, что вы можете создать.

— Платье? — её бровь изогнулась. — Для кого?

— Для баронессы Воронцовой.

Повисла тишина. Жюли поджала губы так, что они превратились в тонкую ниточку.

— Для Пелагеи Андреевны? О, мсье... Боюсь, это невозможно.

— Почему? У вас закончился шелк?

— У мадам Воронцовой... как бы это сказать... сложная финансовая ситуация. Она до сих пор не оплатила счет за траурные перчатки двухлетней давности. Мы не шьем в долг. Тем более для персон с... такой репутацией.

— С какой «такой»? — мой голос стал тихим, но Жюли отступила на шаг.

— Говорят, она не в себе. Торгует на рынке. Вы же понимаете, Дмитрий Игнатьевич, я одеваю лучших дам города. Если они узнают, что я шью для...

Я достал из кармана бумажник.

Он был толстым, кожаным и очень убедительным.

Я вынул пачку ассигнаций и небрежно бросил их на столик с модными журналами.

— Здесь долг за перчатки. И аванс за платье. Тройной тариф.

Глаза Жюли алчно блеснули, но она все еще колебалась.

— Деньги — это прекрасно, мсье. Но репутация моего салона...

— А что с вашей репутацией, Жюли? — я подошел к ней вплотную. — Я слышал, у вас проблемы с арендой помещения? Владелец здания — мой хороший знакомый. Будет обидно, если завтра он решит повысить плату вдвое. Или вообще расторгнет договор.

Она побледнела под слоем пудры.

Это был удар ниже пояса. Но я не на дуэли. Я на войне.

— Это шантаж, — прошипела она.

— Это бизнес, мадам. Вы сошьете ей платье. Такое, чтобы все эти «лучшие дамы» подавились от зависти. Ткань она выберет сама. Вы пошлете к ней в «Отрадное» свою лучшую мастерицу. Сегодня же.

— Но... как я это объясню? — Жюли растерянно посмотрела на деньги. — Она гордая. Она не примет подарок от мужчины. Тем более от вас. Весь город и так шепчется...

— А вы не скажете, что это от меня.

— Простите?

— Вы скажете, что нашли старую расписку. Что её покойный муж, барон, оплатил заказ вперед, но не успел его забрать. Или что у вас акция для вдов героев. Придумайте что-нибудь! Вы же женщина, вы умеете врать изящно.

Я взял её руку и вложил в неё еще одну купюру.

— Главное условие: платье должно быть не просто красивым. Оно должно быть... оружием. Никаких рюшечек, никаких пастельных тонов для скромниц. Сделайте из неё королеву. Вы меня поняли?

Жюли посмотрела на деньги, потом на меня. В её глазах появилось уважение. Или страх.

— Я поняла, мсье Белозеров. Цвет?

Я на секунду задумался.

Вспомнил Пелагею в саду. Её бледность, её горящие глаза, её решимость. Черный ей шел, но черный — это траур. А она возвращается к жизни.

— Пусть она решит сама. Но я бы посоветовал что-то... опасное. Как ночь или как вино.

— Будет исполнено, — Жюли спрятала деньги в корсаж. — Мастерица будет у неё после обеда.

— И, Жюли... — я остановился у двери. — Если хоть одна живая душа узнает, кто платил, ваше заведение закроется быстрее, чем вы скажете «шарман».

Я вышел из лавки, чувствуя странную смесь удовлетворения и глупости.

Я только что потратил состояние на тряпки для женщины, которая мне даже не жена и не любовница.

«Инвестиция, — твердил я себе. — Это инвестиция в победу над Графом».

Но кого я обманываю? Я хотел увидеть её в этом платье. Я хотел видеть, как она войдет в залу, и как вытянутся лица у этих снобов.

— Дмитрий Игнатьевич!

Голос прозвучал как скрежет стекла по металлу.

Я обернулся.

У своей кареты, остановившейся прямо у входа в лавку, стояла Аглая Бельская.

Сегодня она была в голубом бархате, красивая, холодная и ядовитая, как зимняя змея.

Она видела, откуда я вышел.

Глаза её сузились.

— Неужели я вижу вас у модистки? — она жеманно улыбнулась, поправляя муфту. — Решили сменить стиль? Или у вас появилась... дама сердца, которую нужно одеть, чтобы не стыдно было показать людям?

Я шагнул к ней, склонив голову в вежливом поклоне.

— Доброго дня, Аглая Петровна. Я просто инвестирую в красоту. Искусство требует меценатов.

— В красоту? — она фыркнула. — О, я догадываюсь, о чьей «красоте» речь. Весь город говорит, что вы взяли под крыло нашу... кондитершу. Скажите, Дмитрий, неужели дела идут так плохо, что вы польстились на вдову с прицепом и долгами? Или вам просто нравится вкус... дешевой пастилы?

Меня обожгло злостью.

Дешевой.

Она не стоила и мизинца Пелагеи. Эта кукла, которая живет на папины деньги и считает, что мир вращается вокруг её юбки.

— Осторожнее, Аглая Петровна, — сказал я тихо, но так, что её улыбка завяла. — Зависть — дурное чувство. От него появляются морщины. А что касается вкуса...

Я вспомнил тот вечер. Вкус зефира с её пальцев.

— Иногда то, что кажется простым, оказывается самым дорогим деликатесом. А то, что блестит в витрине, на поверку — лишь пустотелая леденцовая кукла.

Она вспыхнула, покрываясь некрасивыми красными пятнами.

— Вы... вы хам, Белозеров! Мужик! Вы пожалеете! На балу мы уничтожим её! Она станет посмешищем! И вы вместе с ней!

— Посмотрим, — я надел цилиндр. — До встречи на балу, мадемуазель. И советую надеть что-то поскромнее. Боюсь, в этот раз затмить всех вам не удастся.

Я оставил её кипеть от ярости посреди улицы и сел в свои сани.

— В контору, Игнат.

В конторе я первым делом взял лист плотной бумаги и перо.

Мне нужно было написать ей.

Она наверняка будет сопротивляться. Она гордая. Если приедет портниха, Пелагея может выставить её за дверь, решив, что это очередная ловушка или подачка.

Нужно было найти правильные слова.

Я макнул перо в чернильницу.

«Пелагея Андреевна,

К вам приедет человек от мадам Жюли. Не вздумайте её выгонять. Это не подачка, это часть нашего военного плана. Солдат не идет в бой без мундира.

Считайте это вложением в наше «зефирное предприятие». Отдадите с первой прибыли (когда она будет).

Ткань выберите сами. Но помните: вы идете не на танцы, вы идете на войну. Выбирайте цвет, который будет кричать о том, что вы не сломлены. Не надевайте траур. Траур — это признание поражения.

И еще.

Я буду там. И я приглашаю вас на первый вальс. Отказ не принимается. Даже если вы наступите мне на ногу — я потерплю.

Д.Б.»

Я перечитал записку. Суховато? Возможно. Но я не поэт. Я партнер.

Я запечатал письмо, не используя гербовую печать (слишком официально), просто капнул воском.

— Игнат! — позвал я.

Кучер вошел, отряхиваясь от снега.

— Отвезешь в «Отрадное». Лично в руки баронессе. И скажи... скажи, чтоб дрова не сэкономили. Если надо — еще привезем.

День тянулся медленно. Я занимался делами, проверял счета, орал на нерадивых поставщиков, но мысли всё время возвращались к «Отрадному».

Как она там?

Не приехал ли Граф снова?

Не наделала ли глупостей?

Ближе к вечеру ко мне в кабинет постучали.

— Войдите!

Дверь отворилась, и на пороге возникла фигура, которую я ожидал увидеть меньше всего.

Марья Гавриловна.

Та самая соседка-сплетница, что покупала у Пелагеи зефир.

Она была в необъятной шубе, румяная с мороза, и её маленькие глазки бегали по кабинету, оценивая обстановку.

— Дмитрий Игнатьевич! — прогудела она басом. — Прошу прощения за вторжение. Дело деликатное.

— Слушаю вас, Марья Гавриловна. Присаживайтесь.

Она села, заняв собой всё кресло.

— Я тут слышала... краем уха... что вы нынче в контрах с Графом Воронцовым? Из-за племянницы его?

— Слухи в нашем городе летят быстрее ветра, — уклончиво ответил я.

— И то верно. Так вот, Дмитрий Игнатьевич. Я женщина простая, прямая. Я тот зефир пробовала. Это, доложу я вам, вещь! Такого даже в Петербурге не сыщешь. Тает!

Она мечтательно закатила глаза.

— Я это к чему... Жалко бабу. Граф её со свету сживет. А она, видать, с характером. И руки золотые.

Она помолчала, глядя на меня хитро.

— Но одной ей на балу не выстоять. Затопчут. Бельская со своей сворой уже яд готовит. Ей нужна... поддержка. Женская. Авторитетная.

— И вы предлагаете свою кандидатуру? — я понял, к чему она клонит.

— Ну... я женщина вдова, мне терять нечего. Могу и под крыло взять. Ввести в залу, представить кому надо, сплетню пустить правильную — мол, никакая она не сумасшедшая, а просто эксцентричная. Но...

Она выразительно потерла пальцами.

— Сами понимаете, Дмитрий Игнатьевич. Риск. Репутация. Да и должок у меня перед вами имеется... Вексель по весне срок имеет. Проценты там набежали...

Я усмехнулся.

Старая лиса. Она продавала свое покровительство.

Но это было именно то, что нужно. Мужчина может дать деньги, может защитить кулаками, но он не может защитить от женского шепота за спиной. Здесь нужна была именно такая «тяжелая артиллерия», как Марья Гавриловна. Если она встанет рядом с Пелагеей, половина кумушек побоится открыть рот.

Я достал из ящика стола папку с векселями. Нашел нужную бумагу.

— Марья Гавриловна, вы удивительно проницательная женщина.

Я взял перо и размашисто написал на векселе: «Проценты аннулированы. Срок продлен на год без начисления пени».

Показал ей.

Её глаза загорелись.

— Щедро, Дмитрий Игнатьевич! По-царски!

— Но с условием.

— Каким?

— Вы не отходите от неё ни на шаг. Вы заткнете рот любой, кто посмеет косо посмотреть в её сторону. Вы будете её броней. И если хоть одна слезинка упадет с её глаз по вине этих гарпий — вексель вернется в прежнее состояние. Договорились?

Она крякнула, но кивнула.

— Договорились. Уж я этой Бельской давно хвост прищемить хотела. Слишком высоко нос задирает. А Пелагея... она мне нравится. Есть в ней искра. Справимся.

Марья Гавриловна ушла, унося в муфте свою выгоду.

Я остался один.

За окном сгущались сумерки.

Я сделал всё, что мог.

Портниха. Деньги. Защита. Союзники.

Остальное зависело от неё.

Я подошел к окну и посмотрел в сторону, где за лесами и снегами светились окна «Отрадного».

— Не подведи, Пелагея, — прошептал я. — Я поставил на zero. Не дай мне проиграть.

А где-то там, в своей усадьбе, она, наверное, сейчас читает мою записку и возмущается моей наглостью.

Пусть возмущается. Злость ей к лицу. Злость — это топливо.

Через две недели мы станцуем этот вальс. И пусть весь Спасск провалится в тартарары.

Глава 14

Среда началась с головной боли и ощущения надвигающейся катастрофы.

Я сидела на кухне, тупо глядя в кружку с травяным чаем. С момента визита Графа прошло меньше суток, но мне казалось, что я прожила год. Адреналин схлынул, оставив после себя пустоту и липкий страх.

Завтра.

Уже завтра вечером я должна войти в зал Губернского дворянского собрания и, улыбаясь, доказать сотне снобов, что я не сумасшедшая, не нищая и имею право воспитывать собственного сына.

А у меня из активов — только натертый паркет, банка варенья и старое траурное платье, в котором я похожа на гувернантку-неудачницу.

— Мам, ты чего зависла? — Миша дернул меня за рукав. — У нас текстуры не прогрузились?

— Прогрузились, сынок. Просто уровень сложный. Босс сильный, а у нас брони нет. В дверь постучали.

Не властно, как Граф, и не по-хозяйски, как Дмитрий. Стук был деликатным, но настойчивым.

— Дуня, глянь, — махнула я рукой, не вставая. — Если это опять Марья Гавриловна за добавкой, скажи, что партия сохнет.

Дуняша ушла и вернулась через минуту, но не одна.

Следом за ней в кухню, брезгливо поджимая губы и стараясь не наступить в воображаемую грязь, вошла женщина.

Сухопарая, в строгом сером пальто, с огромной шляпной коробкой в одной руке и саквояжем в другой. Её острый нос с горбинкой напоминал клюв птицы-секретаря.

— Мадам Воронцова? — спросила она с сильным акцентом (то ли французским, то ли нижегородским). — Я от мадам Жюли.

Я поперхнулась чаем.

Мадам Жюли держала самый дорогой модный салон в городе. Я знала это по счетам мужа, которые нашла в кабинете. Цены там были такие, что на стоимость одного чепчика можно было купить деревню с крепостными (если бы их еще не отменили).

— Вы, наверное, ошиблись адресом, — сказала я, поднимаясь. — Я ничего не заказывала.

— Заказано и оплачено, — отрезала гостя, ставя коробку на лавку (предварительно постелив платок). — Меня зовут мадам Козлова. Я здесь, чтобы сшить вам платье к завтрашнему балу.

— Кем оплачено?

— Это конфиденциальная информация, мадам. Скажем так... старый долг нашего заведения перед вашим покойным супругом.

Она лгала. И делала эт

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.